

Я займу твоё место

Сергей Галактионов



Сергей Галактионов

Я займу твоё место

Серия «Подмена», книга 3

<https://litres.ru/73825426>

SelfPub; 2026

Аннотация

В школе 17 есть только одно правило: ты либо в свите Королевы, либо ты мусор под её подошвами. Лиза Воронова — тихая новенькая из Бутово в очках с толстыми линзами — казалась идеальной мишенью. Но у Лизы есть секрет: она умеет рисовать на лицах новую реальность.

Один дерзкий взмах кистью — и в зеркале отражается точная копия Арины, властительницы школы. Лиза крадет её макияж, её походку, её стиль и её парня. Теперь в школе две Королевы, и эта территория слишком тесна для обеих.

Это не просто битва за популярность. Это психологическая война на выживание, где валюта — чужие секреты, а оружие — безупречный фильтр в соцсетях. Когда ставки вырастают до жизни и смерти, Лиза понимает: надев чужую маску, ты рискуешь навсегда потерять свое настоящее лицо.

Ты готов узнать, на что способна та, которой нечего терять? Помни: в этой игре побеждает не самый добрый, а самый расчетливый.

Содержание

Глава 1. Невидимка	4
Глава 2. Отражение	19
Глава 3. Первая кровь	38
Глава 4. Изнанка короны	59
Глава 5. Коллекционер	82
Конец ознакомительного фрагмента.	88

Сергей Галактионов

Я займу твоё место

«Чтобы занять твоё место, мне не пришлось убивать тебя. Мне пришлось стать тобой. Но зеркало никогда не показывает двоих — кто-то один из нас лишний».

Глава 1. Невидимка

Автобус дёрнулся на светофоре, и я ударилась виском о стекло. Холодное, мутное, исцарапанное чьим-то ключом — кривая надпись «Лёха + Катя», обведённая сердечком. Чья-то мёртвая любовь на грязном окне маршрутки. Я прижалась лбом к этому сердечку и закрыла глаза.

Москва за окном не выглядела как обещание лучшей жизни. Москва выглядела как ноябрь: серая, мокрая, равнодушная. Панельные дома Бутово тянулись бесконечной стеной, одинаковые, как дни моей прежней жизни. Только вывески другие. Только номера маршрутов другие. А всё остальное — то же самое.

Пятая школа за три года. Пятая попытка стать невидимой.

Мама сказала: «В Москве никто не будет знать, кто мы такие. Там миллионы людей, Лизонька. Легко затеряться». Она произнесла это так, будто затеряться — это подарок.

Будто раствориться среди миллионов — мечта, а не диагноз.

Я не стала спорить. Я давно не спорила с мамой. Когда человек работает уборщицей в двух местах — с шести утра в бизнес-центре на «Павелецкой» и с пяти вечера в торговом центре в Бутово, — у него нет сил на споры. У него едва хватает сил на то, чтобы разогреть ужин и не уснуть, пока дочь рассказывает про свой день.

Я и не рассказывала. Зачем? Что бы я сказала?

«Мам, сегодня Света Козырева вывернула мой рюкзак в лужу перед всей школой, и все смеялись, а учительница сказала — разберитесь сами, я не нянька».

«Мам, сегодня кто-то написал на моём шкафчике «нищесбродка» красным маркером. Охранник видел. Охранник не видел».

«Мам, сегодня в интернет выложили видео, где я поскользнулась в столовой, и Петров подставил ногу, и я упала лицом в поднос, и все снимали, и под видео уже двести комментариев, и самый мягкий — «уродина», а самый популярный — тот, который я не могу повторить, потому что если повторяю, то ломаюсь».

Нет. Я не рассказывала. Я приходила домой, садилась за стол, делала уроки, ела суп, ложилась спать. Утром — всё сначала. Школа как минное поле. Каждый день — не наступи, не привлеки внимание, не будь заметной. Стань стеной. Стань воздухом. Стань ничем.

В первой школе — в Рязани — меня дразнили за одеж-

ду. Мамина зарплата не позволяла покупать то, что носили остальные. Я ходила в маминой перешитой юбке и кроссовках с рынка, на которых буква N была приклеена чуть криво, выдавая подделку. Дети замечают подделки раньше взрослых. Дети вообще замечают всё, что можно использовать как оружие.

Во второй школе — в Туле — узнали, что мама убирает офисы. Кто-то из одноклассников увидел её в жёлтом жилете с ведром, когда его отец приезжал на работу. На следующий день мне подарили тряпку. Красиво завернули в подарочную бумагу. С бантиком. Весь класс смотрел, как я разворачивала. Тридцать пар глаз, тридцать ухмылок, одна тряпка. Я не заплакала. Я научилась не плакать в Рязани.

Третья школа — Калуга. Четвёртая — Серпухов. Каждый раз — новый город, новая попытка, новая надежда мамы и моё старое знание: ничего не изменится. Люди не меняются. Меняются только декорации.

И вот — Москва. Город, в котором, по маминым словам, легко затеряться.

Я смотрела в окно автобуса и думала: а что, если я не хочу теряться? Что, если я хочу, чтобы меня нашли — но по моим правилам?

Мысль скользнула и пропала, как блик фонаря на мокром асфальте. Я была слишком уставшей для амбиций. Слишком привыкшей быть маленькой.

Будильник не прозвенел.

Вернее, прозвенел — но в шесть, вместо половины седьмого. Мама уже ушла. Она вставала в пять, бесшумно, как призрак, и я просыпалась не от звука, а от отсутствия звука — от той особенной тишины, которая наступает, когда из комнаты уходит единственный человек, ради которого стоит просыпаться.

Я перевела будильник и заснула. И проспала.

Когда я открыла глаза — часы показывали 8:47. Первый урок начинался в 8:30. Первый день в новой школе — и я опаздывала.

Я вскочила. Наша квартира в Бутово — однокомнатная, двадцать шесть квадратных метров — позволяла одеться, не вставая с дивана. Я натянула джинсы, свитер (мамин, растянутый на локтях, но чистый), схватила рюкзак. Зеркало в прихожей показало мне то, что я ожидала: бледное лицо, тёмные круги, волосы — мокрые после душа, торчащие в разные стороны, потому что я не успела их высушить. И очки. Толстые, в прозрачной пластиковой оправе, делающие мои глаза неестественно большими, как у насекомого.

Линзы. Где мои линзы?

Я перерыла ящик. Полку. Пакет с вещами, который мы ещё не распаковали. Линз не было. Вчера я положила их... куда? На подоконник? В ванную? Мы переехали два дня назад, и в квартире всё ещё стояли коробки, подписанные маминым корявым почерком: «кухня», «Лизе», «разное».

8:52. Линз нет. Времени нет.

Я выбежала из квартиры в очках, с мокрыми волосами, в растянутом свитере, и подумала: может, это и к лучшему. В первый день лучше быть невидимой. Незаметной. Никакой.

Серый человек в сером городе.

Школа №17 стояла на улице, название которой я забыла, пока бежала от автобусной остановки. Четырёхэтажное здание из жёлтого кирпича, похожее на все школы, в которых я училась: крыльцо с колоннами, стеклянные двери, запах линолеума и варёной капусты. У входа курили старшеклассники. Один из них — высокий, в чёрной куртке — проводил меня взглядом. Равнодушным. Я даже не зацепила его внимание.

Хорошо. Так и надо.

Я нашла кабинет 10 «Б» на втором этаже. Дверь была закрыта. За ней — голос учительницы, монотонный, привычный. Я постучала.

Тишина. Потом — шаги. Дверь открыла женщина лет сорока, невысокая, с усталым лицом и причёской, которая когда-то была каре, а теперь была просто — волосы. Она посмотрела на меня поверх очков (её очки были тоньше моих, но тоже немодные) и сказала:

— Ты, наверное, Воронова?

— Да, — сказала я. — Извините за опоздание. Я...

— Заходи, — она не дослушала. Повернулась к классу: — Ребята, к нам новенькая. Елизавета Воронова, переведена из... — она заглянула в журнал, — из Серпухова. Садись...

— она оглядела класс, — вон там, на заднем ряду. У двери. Камчатка. Конечно. Место для тех, кого можно не замечать.

Я прошла через весь класс. Тридцать пар глаз. Я знала этот момент наизусть. Первый проход — как подиум, только наоборот: здесь оценивают не красоту, а слабость. Что на ней надето? Дорогое или дешёвое? Модное или нет? Уверенная или трусиха? Своя или чужая?

Я шла, глядя в пол. Свитер, джинсы, очки, мокрые волосы. Диагноз был очевиден.

Кто-то хмыкнул. Кто-то шепнул. Я не расслышала слов — но тон узнала безошибочно. Этот тон одинаков в Рязани, Туле, Калуге, Серпухове и Москве. Тон, которым оценивают и отбраковывают.

Я села за последнюю парту. Положила рюкзак. Достала тетрадь.

— Учебник есть? — спросил голос справа.

Я повернулась. Парень. Светлые волосы, аккуратная стрижка, приятное лицо — из тех лиц, которые легко представить на рекламе зубной пасты. Голубые глаза, внимательные, чуть слишком внимательные. Он сидел за соседней партой и смотрел на меня с выражением, которое я не сразу идентифицировала. Не насмешка. Не равнодушие.

Интерес.

— Нет, — сказала я. — Ещё не выдали.

— Держи, — он протянул мне учебник литературы, тол-

стый, в потрёпанной обложке. — У меня есть электронная версия на планшете. Я — Данил.

— Лиза, — сказала я и взяла учебник.

Его пальцы задержались на обложке на секунду дольше, чем нужно. Или мне показалось.

— Не бойся, — сказал он тихо, — здесь не так страшно, как кажется.

Я посмотрела на него. Он улыбался. Улыбка была правильной: тёплой, дружелюбной, ободряющей. Но что-то в ней — на самом дне, за зрачками — было не так. Будто он репетировал её перед зеркалом. Будто он точно знал, какой эффект она производит.

— Спасибо, — сказала я. И отвернулась.

За сорок пять минут урока я составила первую карту класса. Привычка, выработанная четырьмя школами. Не слушать учителя — слушать класс. Кто с кем перешёптывается. Кто кого боится. Кто главный.

Передний ряд у окна: две девочки — одна с хвостом, вторая с каре — непрерывно переписывались в телефонах под партой, прикрывая экраны ладонями. Их головы синхронно поворачивались к каждому, кто входил и выходил. Антенны. Сканеры. Сплетницы. Я мысленно пометила их как «информационный узел».

За ними — крупный парень в спортивной толстовке, который рисовал что-то в тетради и ни на кого не смотрел. Рядом — худой в очках, залипший в ноутбук. Дальше — парень

с широкой улыбкой, который каждые две минуты отпускал шутку, и вокруг него предсказуемо хихикали.

Девочка у стены — незаметная, в сером свитере, — прятала телефон, на экране которого мелькали фотографии. Она то поднимала его, то опускала, направляя камеру куда-то в сторону доски. Нет, не доски — в сторону двери. Я проследила за её объективом. Она фотографировала пустой дверной проём. Или кого-то, кто обычно стоит в дверном проёме.

Странно. Я запомнила её лицо.

И — стул.

Второй ряд от окна, третья парта. Стул был пуст. Но на его спинке висел шарф — бежевый, кашемировый, явно дорогой. Он висел небрежно, как брошенный впопыхах, но я заметила: никто к нему не прикасался. Никто не сдвинул стул, чтобы пройти. Двое парней, сидевших за соседними партами, обходили его, как обходят памятник.

Пустой стул с дорогим шарфом. Забронированное место. Чей-то трон.

Я не знала чей. Пока не знала.

Урок закончился. Звонок — резкий, дребезжащий. Класс пришёл в движение. Данил повернулся ко мне:

— На следующей перемене могу показать, где столовая. И библиотека. И... вообще всё.

— Спасибо, — повторила я. — Я разберусь.

Он кивнул. Не обиделся. Или сделал вид.

Я вышла в коридор и остановилась у окна. Второй этаж.

Широкий подоконник, на котором можно было сидеть. Внизу — школьный двор, за ним — хозблок, за хозблоком — кусты и лавочки, скрытые от окон.

Перемена была в разгаре. Я стояла у окна, держа учебник Данила, как щит, и наблюдала за потоком людей. Здесь, в коридоре, иерархия была видна ещё отчётливее, чем в классе. Младшеклассники жались к стенам. Десятые и одиннадцатые шли по центру. И все — абсолютно все — как-то по-особенному реагировали на дальний конец коридора. Не смотрели туда прямо. Но и не поворачивались спиной. Как антилопы у водопоя, которые знают, что где-то рядом — хищник.

Я посмотрела в дальний конец коридора.

Там стоял подоконник. Широкий, как и мой. Но этот был занят. На нём сидел парень: высокий, спортивный, с тёмными волосами и лицом, которое было красивым той особенной красотой, которая не греет, а холодит. Как мрамор. Он смотрел в телефон. Рядом стоял крупный парень в спортивной толстовке (тот, из класса), худой в очках, весельчак и девочка с ярко покрашенными глазами, которая листала что-то на планшете. Свита. Двор короля.

Но стул короля пуст. Значит, есть кто-то выше.

Звонок на урок. Я шла обратно в класс, когда услышала: — Эй, новенькая.

Девочка с хвостом — одна из сплетниц — стояла у двери. Её глаза блестели тем особенным блеском, который бывает у людей, собирающихся сообщить плохую новость с удоволь-

ствием.

— Тебе повезло, что сегодня Арины нет, — сказала она. И улыбнулась. — Завтра — не повезёт.

Она скользнула в класс, прежде чем я успела спросить, кто такая Арина.

Последний урок закончился в три. Я шла через школьный двор к автобусной остановке, когда слышала голоса. Тихие, напряжённые. За хозблоком — там, где кусты и лавочки, скрытые от окон.

Я остановилась. Не из любопытства — из инстинкта. За четыре школы я научилась различать звуки опасности, как животное различает запах дыма. Эти голоса — не дружеский разговор. Не ссора. Что-то другое.

Я обошла угол хозблока и выглянула из-за стены.

Двое. Крупный парень из свиты — тот, в спортивной толстовке — стоял, скрестив руки на груди. Перед ним — мальчик. Маленький, лет двенадцати, в школьной форме на два размера больше, чем нужно, и в очках, заклеенных на дужке изолентой. Он стоял, опустив голову, и его плечи мелко дрожали.

— Паш, — говорил крупный парень спокойно, почти лениво. — Мы же договаривались. Каждую пятницу. Это не просьба, это — система. Ты что, не уважаешь систему?

— У меня нет, — пробормотал мальчик. — Мама не дала. Она сказала...

— Мне без разницы, что сказала твоя мама. — Крупный

парень наклонился. Не угрожающе — почти дружески, как старший брат, объясняющий правила игры. — Арина расстроится. Ты же не хочешь, чтобы Арина расстроилась?

Мальчик замотал головой.

— Ну вот. — Крупный выпрямился. — Значит, к понедельник — и за эту неделю тоже. А пока... — он кивнул на землю под лавкой, где валялись бычки, пустые пачки из-под чипсов, смятые стаканчики. — Убери тут. Чтобы к завтрашнему утру было чисто.

Мальчик — Паша — опустил на корточки и начал собирать мусор. Мокрые окурки, слипшиеся с грязью. Он брал их голыми руками, и его пальцы дрожали.

Крупный парень стоял над ним, освещённый серым ноябрьским светом, и смотрел с выражением абсолютного спокойствия. Ни жестокости, ни удовольствия. Просто — работа. Система.

Я стояла за углом и не двигалась. В животе было холодно. Не от страха — я видела вещи и похуже. От узнавания. Этот мальчик в слишком больших ботинках, с заклеенными очками, собирающий чужие окурки — это была я. Год назад. Два. Три. Я знала, как пахнут мокрые бычки, поднятые с земли. Я знала, как болят колени на холодном асфальте. Я знала этот стыд — густой, физический, как тошнота.

Я не вмешалась. Не потому что боялась. А потому что знала: одно неверное движение в первый день — и я стану следующей, кто собирает мусор.

Я тихо отошла за угол и пошла к автобусу.

Вечером я сидела на кухне нашей бутовской квартиры — если можно назвать кухней закуток с плитой, раковиной и столом, за которым едва помещались двое. За окном горели фонари промзоны — жёлтые, тусклые, как воспалённые глаза. Где-то внизу ругались соседи. Через стену бубнил телевизор.

Мама вернулась в десять. Сняла обувь, не включая свет в прихожей. Она всегда так делала — по привычке. Будто стеснялась занимать пространство даже в собственном доме.

— Лизонька? Ты не спишь?

— Нет, мам.

Она зашла на кухню. Устала — это не слово. Она была изношена: ссутуленная, с покрасневшими руками, с волосами, пахнущими хлоркой. Сорок два года. Выглядела на пятьдесят пять.

— Как школа? — она поставила чайник.

— Нормально.

— Ребята как?

— Нормальные.

— Учителя?

— Тоже.

Она села напротив. Посмотрела на меня — долго, внимательно. Мамы умеют смотреть сквозь ложь. Но у моей мамы не было сил копать глубоко.

— Ну и хорошо, — сказала она. — В Москве будет лучше,

Лизонька. Я чувствую.

Я кивнула. Она выпила чай и легла. Через пять минут — спала. Мгновенно, как засыпают люди, у которых тело не оставляет мозгу выбора.

Я сидела на кухне одна. Передо мной на столе лежала тетрадь. Я открыла её и начала писать.

Не дневник. Не жалобу. Не крик о помощи.

Список.

«Школа №17. Структура.»

«Арина — ? (отсутствовала). Главная. Все боятся. Стул у окна, шарф — кашемир, бежевый. Никто не трогает.»

«Свита: парень на подоконнике в конце коридора (имя?), крупный в толстовке (собирает «взносы»), худой в очках (ноутбук), весельчак, девочка с макияжем.»

«Система сбора денег — младшие классы. Пятницы. Место — за хозблоком. Наказание за неуплату — унижение (сбор мусора, окурков).»

«Сплетницы — две, передний ряд у окна. Источник информации.»

«Данил — сосед по парте. Помог с учебником. Слишком дружелюбный. Осторожно.»

«Девочка в сером свитере — фотографирует кого-то тайно. Кого? Зачем?»

«Классная руководительница — Елена Павловна. Устала. Боится? Чего?»

Я закрыла тетрадь. Посмотрела в окно. Моё отражение

смотрело в ответ: бледное, в огромных очках, с прилипшими ко лбу волосами. Жалкое.

«Арина расстроится. Ты же не хочешь, чтобы Арина расстроилась?»

Мальчик Паша, собирающий мокрые бычки на коленях.

Я подумала: кто ты такая, Арина, что даже твоё отсутствие заполняет комнату?

И ещё я подумала — не словами, а чем-то глубже, на том уровне, где мысли ещё не стали мыслями, а только предчувствием: завтра ты увидишь меня. И я хочу, чтобы ты увидела не то, что видят все.

Я встала. Подошла к коробке с надписью «Лизе» маминым почерком. Раскрыла. Внутри, под свитерами и учебниками, в пластиковом пакете из «Фикс Прайса», лежал мой арсенал.

Тональный крем. Тушь. Тени. Помада. Карандаш для бровей. Консилер. Всё — дешёвое, из масс-маркета и с распродаж. Но я умела с этим работать. Единственное, чему меня научила травля: если не можешь изменить мир — измени лицо. Я часами смотрела видео бьюти-блогеров. Не ради красоты. Ради маскировки. Ради возможности стать кем-то другим. Не Лизой-нищевродкой. Не Лизой-жертвой. Кем-то, на кого не поднимут руку.

Я разложила косметику на столе. Рядом положила контактные линзы — нашла их в ванной, за стиральной машиной.

Завтра.

Завтра я войду в эту школу другим человеком.

Я ещё не знала — каким именно. Не знала, что моё новое лицо окажется копией лица, которого я никогда не видела. Не знала, что один взгляд в зеркало разделит мою жизнь на «до» и «после». И что слово «затеряться», которое мама произносила как благословение, станет проклятием.

Но кое-что я знала точно.

Я больше не буду собирать чужие окурки.

Больше — никогда.

Глава 2. Отражение

Я проснулась в пять утра. Мама ещё не ушла — я слышала, как она возится в прихожей, стараясь не шуметь, как застёгивает молнию на куртке, как поворачивает замок. Щелчок. Тишина. Пустота.

Я лежала с открытыми глазами и ждала. Не знаю, чего именно. Может, смелости. Может, знака. А может — просто ждала, пока сердце перестанет колотиться.

Вчера вечером, разложив косметику на кухонном столе, я провела три пробных подхода. Три раза нанесла и смыла. Контур бровей — выше, острее. Тени — дымчатые, с растушёвкой к вискам, чтобы удлинить глаза. Консилер — на тёмные круги, на покраснения, на всё, что делало моё лицо лицом уставшего ребёнка. Тональный крем — тонким слоем, как глазурь на пирожном, ровно, без границ. Помада — приглушённый розовый, тот оттенок, который визажисты называют «мой цвет губ, только лучше».

Три раза я смотрела в зеркало и видела незнакомку.

Не красавицу — нет. Красота требует породы, а породу не нарисуешь тональным кремом за триста рублей. Но я видела другого человека. Уверенного. Чёткого. С лицом, на котором каждая линия была осознанным выбором, а не случайностью генетики.

Без очков мой взгляд менялся. Линзы, вставленные нака-

нуне, убрали ту преграду из стекла и пластика, которая всю мою жизнь стояла между мной и миром. Мои глаза оказались большими, тёмно-серыми, с длинными ресницами, которых не было видно за толстыми линзами. Я сама не знала, что у меня такие ресницы. Тушь удлинила их ещё — до кукольности, до нереальности.

А волосы... Волосы — это было самое простое. Утюжок, взятый у соседки по площадке в обмен на обещание погулять с её таксой, превратил мои мокрые пряди в прямое, блестящее полотно. Я разделила их на пробор — не по центру, а чуть правее. Так, как носила одна девочка из видео, которое я видела в Instagram: бьюти-блогерша из Москвы с идеальными скулами и лёгкой улыбкой.

Я не знала тогда, что эта девочка — Арина.

Я не копировала её намеренно. Я собирала образ по кусочкам: брови — от одного видео, тени — от другого, укладка — от третьего. Мозаика, складывавшаяся из сотен чужих лиц, которые я изучала ночами, как другие девочки изучают учебники.

Результат оказался случайностью. Страшной, невероятной, всё изменившей случайностью.

Без двадцати восемь я стояла перед треснувшим зеркалом в прихожей. На мне были чёрные джинсы (единственные приличные), белая водолазка (мамина, но на мне сидевшая лучше) и кроссовки, отмытые вчера зубной щёткой до приемлемого состояния. Всё — дешёвое. Всё — обычное. Но

лицо меняло всё. Лицо делало эту одежду формой, униформой, осознанным минимализмом, а не бедностью.

Я посмотрела на себя.

И не узнала.

Высокая — метр семьдесят три. Стройная — не от фитнеса, а от того, что мы с мамой сэкономили на еде. Прямые тёмные волосы до лопаток. Чёткие скулы, подчёркнутые контурингом. Большие серые глаза, обрамлённые тёмными тенями. Губы — полные, очерченные карандашом.

Я выглядела как человек, которому не нужно собирать чужие окурки.

Я выглядела как человек, перед которым собирают окурки другие.

Эта мысль напугала меня. И — я не сразу это признала — понравилась.

Дорога до школы заняла двадцать минут. В автобусе на меня посмотрели дважды: мужчина у двери задержал взгляд, женщина с сумками окинула оценивающе. Не с неприязнью — с интересом. Это было ново. Я привыкла быть невидимой, и внезапная видимость ощущалась как голая кожа на морозе: остро, тревожно, неприятно-приятно.

Я вошла в школу в 8:21. Девять минут до звонка. Коридор первого этажа был полупустым — основной поток ещё не хлынул. Я поднялась на второй этаж.

Коридор.

Широкий, залитый люминесцентным светом. Подоконни-

ки, плакаты, стенды с расписанием. Знакомый запах: мел, дезинфекция, чей-то парфюм. У дальнего окна — свита. Крупный парень в толстовке (вчера я узнала его имя — Лёха), худой в очках (Матвей), весельчак (Димон), девочка с макияжем (Маришка). И — он. Парень с холодным лицом, сидевший на подоконнике, как на троне.

Сергей. Его имя я узнала от Данила, который написал мне вечером: «Как первый день? Если что, я рядом». Я ответила: «Нормально. Кто сидит на подоконнике в конце коридора?» «Сергей Астахов. Парень Арины. Не лезь к ним».

Я и не собиралась. Я собиралась пройти мимо. Сесть на Камчатку. Быть новой версией невидимки — красивой невидимкой.

Но мир распорядился иначе.

Я шла по коридору. Каблуки кроссовок мягко стучали по линолеуму. Слева — двери кабинетов. Справа — окна, подоконники, люди. Я смотрела вперёд, не по сторонам. Спина прямая. Подбородок — чуть выше, чем обычно. Не вызов — просто непривычка к отсутствию очков, которые всегда сползали, заставляя опускать голову.

Первой заметила Маришка.

Я поймала это периферийным зрением: её рука, поднимавшая стаканчик с кофе, замерла на полпути. Кофе завис в воздухе, как стоп-кадр. Маришка смотрела на меня. Потом — на дверь кабинета. Потом — снова на меня.

Димон перестал смеяться на полуслове.

Лёха поднял голову от телефона.

Матвей закрыл ноутбук — медленно, как захлопывают книгу, в которой обнаружили ошибку.

Я продолжала идти. Внутри что-то сжималось — тугое, ледяное, знакомое. Страх. Старый, верный, рязанско-тульско-калужско-серпуховской страх. Он говорил: опусти глаза, ссутулься, стань маленькой, стань никем. Но я не опустила. Я шла.

Сергей поднял взгляд от телефона.

Его глаза — тёмно-карие, холодные, привыкшие оценивать — скользнули по мне сверху вниз. Задержались. Он чуть нахмурился — едва заметно, одними бровями, — и я увидела, как на его лице сменились три выражения за одну секунду: узнавание, непонимание, интерес.

Он открыл рот — и не сказал ничего. Просто смотрел.

Маришка дёрнула его за рукав. Прошептала что-то. Я не расслышала. Но расслышал Димон, потому что он присвистнул — громко, на весь коридор:

— Это чо... косплей?

Я не ответила. Я дошла до двери 10 «Б», открыла её и вошла.

Класс был наполовину заполнен. Настя Круглова — сплетница с хвостом — стояла у окна, листая телефон. Вика Ларина рядом жевала яблоко. Данил сидел на своём месте, перебирая что-то в рюкзаке. Ещё несколько человек — лица без имён.

Я вошла — и всё остановилось.

Настя подняла голову. Её телефон выскользнул из пальцев. Даже звук удара о пол — глухой, пластиковый — прозвучал оглушительно в наступившей тишине.

— Б... — сказала Вика и не закончила.

Данил обернулся. Увидел меня. Его глаза расширились — медленно, как расширяется трещина на льду.

Я прошла к своей парте. Камчатка. Последний ряд. У двери. Я села. Положила рюкзак. Открыла тетрадь.

Тишина длилась четыре секунды. Я считала. За четыре школы я научилась считать секунды тишины — они всегда предшествуют чему-то.

На пятой секунде Настя подняла телефон с пола и, не отрывая от меня взгляда, начала что-то печатать. Быстро. Лихорадочно. Её пальцы стучали по экрану, как дробь барабана.

Данил встал. Подошёл ко мне. Наклонился. Его лицо — вблизи — было растерянным, почти испуганным.

— Лиза? — прошептал он. — Это... ты?

— Доброе утро, Данил, — сказала я.

Он стоял надо мной, и я видела, как он борется с чем-то внутри. Его глаза бегали по моему лицу — от бровей к губам, от скул к подбородку, — как будто он пытался совместить два изображения: вчерашнее — очки, мокрые волосы, растянутый свитер — и сегодняшнее. Два человека. Одно имя.

— Ты похожа на... — он осёкся.

— На кого?

Он не ответил. Сел на своё место. Отвернулся.

За окном качались голые ветки. Тучи ползли над Бутово, серые и тяжёлые, как мешки с цементом. Звонок ещё не прозвенел, но класс заполнялся, и каждый входящий проходил через один и тот же цикл: взгляд на меня — пауза — шёпот.

Я сидела за партой, прямая, неподвижная, и внутри меня два голоса вели войну. Первый — привычный, тихий, трусливый — говорил: что ты наделала, зачем ты привлекла внимание, сейчас начнётся, сейчас тебя раздавят. Второй — новый, незнакомый, родившийся этим утром перед зеркалом — отвечал: пусть смотрят.

Без трёх минут девять в класс вошла Арина.

Я поняла, что это она, ещё до того, как увидела. Я почувствовала. Коридор за дверью стих — тем особенным молчанием, которое наступает, когда появляется кто-то, при ком молчат. Шаги — уверенные, ритмичные, каблук-мысок, каблук-мысок. Запах — что-то дорогое, цветочное, плотное, ворвавшееся в кабинет раньше хозяйки.

Дверь открылась.

Она вошла, и я поняла всё.

Арина Краснова. Бежевый шарф (сегодня — на шее, а не на стуле). Тёмные волосы до лопаток — прямые, блестящие, разделённые пробором чуть правее центра. Рост — мой. Фигура — моя. Скулы — мои. Губы — мои.

Нет. Не мои.

Её.

Я скопировала лицо, которого никогда не видела вживую. Я собрала образ из кусочков Instagram-видео, не зная, кому он принадлежит. И попала. С точностью снайпера, стреляющего вслепую.

Арина стояла в дверном проёме, и я стояла — нет, сидела — за последней партой, и между нами был целый класс, тридцать человек, и все они смотрели на нас, переводя взгляды с неё на меня и обратно, и молчали, потому что никто не знал, что сказать, когда видишь двух одинаковых людей в одной комнате.

Она не заметила меня сразу. Она вошла, кивнула Маришке, бросила сумку на парту, села. Привычными движениями: откинула волосы, положила ногу на ногу, достала телефон. Королева на троне.

А потом Настя Круглова — информационный брокер, не удержавшая в себе бомбу — произнесла:

— Арин. Обернись.

Арина обернулась.

Её взгляд нашёл меня не сразу. Прошёлся по задним партам — скользнул по Кириллу Носову, по пустому стулу, по... Остановился. Вернулся. Зафиксировался.

Я видела, как зрачки Арины расширились. Не метафора — буквально. Как две чёрные точки стали двумя чёрными дырами, затягивающими свет. Её рот приоткрылся на миллиметр. Пальцы, державшие телефон, побелели.

Пауза длилась вечность. Или три секунды. С ними никогда не знаешь.

Арина встала. Медленно. Так встают люди, которым сказали, что в комнате бомба, и они ещё не решили — бежать или обезвреживать. Она пошла ко мне. Через весь класс. Между партами. Мимо окаменевших одноклассников. Каблук-мысок. Каблук-мысок. Каждый шаг — удар метронома.

Она остановилась перед моей партой. Я подняла голову.

Мы смотрели друг на друга.

Это было как смотреть в зеркало, которое злится. Те же глаза — только с тенью другого оттенка. Те же скулы — только с другим тональным (её — дороже, ровнее, лучше). Те же губы — но её были сжаты так, что побелели, а мои... Мои, кажется, чуть дрожали, и я молила бога, чтобы она этого не заметила.

— Это что за шутка? — произнесла Арина.

Её голос был тихим. Не крик, не визг — тихий, контролируемый голос человека, который ещё не решил, как именно уничтожить то, что видит перед собой. В этой тишине было больше угрозы, чем в любом крике.

Я молчала. Не потому что выбрала молчание как тактику — нет, это я пойму позже, когда буду прокручивать этот момент бессонными ночами. Я молчала, потому что не могла заставить себя произнести ни слова. Горло сжалось. Язык прилип к нёбу. Девочка из Рязани, из Тулы, из Калуги и Серпухова — та, которая три года собирала чужие унижения,

— эта девочка кричала внутри меня: опусти глаза, извинись, скажи, что это случайность, стань маленькой, стань никем, стань воздухом.

Но я не опустила. Не знаю почему. Может, потому что линзы, снявшие стеклянный барьер, дали мне иллюзию силы. Может, потому что Данил, сидевший сбоку, тихо выдохнул, и в этом выдохе мне послышалось: держись. Может, потому что Паша — маленький Паша в заклеенных очках, собиравший мокрые окурки — стоял перед моими глазами, и я знала: если я сейчас опущу взгляд, я буду как он. Навсегда.

Я смотрела на Арину. Молча.

Она подняла руку. Взяла меня за подбородок — двумя пальцами, как берут хрупкую вещь, чтобы рассмотреть, прежде чем сломать. Развернула моё лицо к свету из окна. Я почувствовала её пальцы — холодные, цепкие, с острыми ногтями, впившимися в кожу. Она изучала меня, как изучают подделку: искала шов, клейку, ошибку. Один глаз чуть прищурен. Губы сжаты. Ноздри раздуваются.

Потом она отпустила мой подбородок. Отступила на шаг. И толкнула.

Не ладонью — обеими руками, от груди, резко и сильно. Стул подо мной откатился. Я не удержалась — колени подломились, спина ударилась о край соседней парты, и я упала. Бок. Локоть. Бровь — о железную ножку стула. Коротко. Сухо. Горячо.

Боль пришла через секунду. Сначала — тупая, как удар

молотком через подушку. Потом — острая, прицельная, раскалывающая бровь изнутри. Я подняла руку к виску. Пальцы стали мокрыми.

Кровь.

Тишина в классе стала абсолютной. Того сорта тишина, которая бывает, когда тридцать человек одновременно перестают дышать.

Арина стояла надо мной. Я видела её снизу вверх — высокую, стройную, с лицом, на котором ярость сменялась чем-то другим. Не раскаянием — нет. Удивлением. Она удивилась, что толкнула. Она удивилась, что я кровоточу. Она удивилась, что потеряла контроль.

И в этот момент из-за парт поднялся Сергей.

Я не видела, когда он вошёл. Не слышала. Он просто был — возник из пространства, как появляются тени, когда зажигается свет. Высокий. Широкие плечи. Тёмные волосы. И лицо — то самое, мраморное, с холодной красотой скульптуры, — на котором не было ничего. Ни злости, ни испуга, ни сочувствия. Только — расчёт. Я не поняла этого тогда. Тогда я увидела только руки — большие, уверенные, — которые подхватили меня.

Он поднял меня с пола. Одним движением — без натуги, без суеты. Просто наклонился, продел одну руку под мои колени, вторую — за спину, и поднял. Как поднимают что-то ценное. Или хрупкое. Или и то, и другое.

Класс смотрел. Тридцать пар глаз. Шестьдесят зрачков.

Арина смотрела. И Арина видела то, что видели все: её па-
рень держит на руках девочку с её лицом.

— Серёжа, — сказала Арина.

Он не обернулся.

— Серёжа!

Он шёл к двери. Я прижимала ладонь к рассечённой бро-
ви, и кровь просачивалась сквозь пальцы, капая на его белую
рубашку. Красное на белом. Я думала: он испачкается, ему
будет неприятно, нужно сказать, чтобы поставил. Но не ска-
зала. Потому что его руки были тёплыми, и я давно — так
давно, что забыла когда — не чувствовала чужого тепла, на-
правленного на меня, а не против меня.

Он вынес меня в коридор. Дверь закрылась. Крик Арины
остался за ней — приглушённый, яростный, как рёв зверя в
клетке.

Медпункт был на первом этаже. Маленькая комната с ку-
шеткой, стеклянным шкафчиком, из которого пахло переки-
сью, и плакатом «Мой руки перед едой», пожелтевшим от
времени. Медсестра — полная женщина с сонным лицом и
кроссвордом в руках — поднялась навстречу.

— Что случилось?

— Упала, — сказал Сергей. Не спрашивая меня. Решая за
меня. — Поскользнулась, ударилась о парту.

Он посадил меня на кушетку. Осторожно — как ставят
вазу на полку. Медсестра — тётя Зина, прочла я на бейдже
— достала ватные диски и перекись водорода.

— Ой-ой, — сказала тётя Зина, промокая мою бровь, — ранка-то неглубокая. Заживёт. Пластырь, и всё. — Она повернулась к Сергею: — Подождёшь в коридоре?

— Я побуду, — сказал он.

Тётя Зина пожала плечами и вернулась к кроссворду.

Мы остались одни. Не совсем — тётя Зина сидела за ширмой, — но её присутствие растворилось в скрипе ручки по газете. Мы были наедине. Впервые.

Сергей стоял рядом. Не садился — стоял, привалившись к шкафчику, сложив руки на груди. Смотрел на меня.

Я подняла глаза. Встретила его взгляд.

Вблизи он был... другим. Не таким, каким казался на подоконнике в конце коридора — недостижимым, каменным. Вблизи я видела детали: тонкий шрам над правой бровью — старый, давно заживший, почти невидимый. Ресницы — густые, тёмные, неожиданно длинные для мальчика. Губы — чуть обветренные, будто он часто прикусывал нижнюю. И глаза. Тёмно-карие, почти чёрные. Глаза, в которых свет отражался, но не проникал внутрь. Как тонированное стекло.

Он пах хвоей. И ещё чем-то — тёплым, кожаным, чуть горьким. Может, одеколон. Может, просто он.

— Больно? — спросил он.

— Терпимо.

Пауза. Он разжал руки, взял со стола бумажное полотенце, смочил его холодной водой из-под крана. Шагнул ко мне. Приложил к моему виску.

Его пальцы коснулись моей кожи — того места, где началась ссадина. Прохладные. Точные. У него были руки хирурга — или шахматиста: каждое движение выверено, каждое касание имеет цель. Он держал полотенце, чуть надавливая, и смотрел мне в глаза — не на рану, а в глаза. И я поняла, что он изучает меня. Не лицо — хотя лицо тоже. Он изучает реакцию. Проверяет: что я сделаю? Заплачу? Испугаюсь? Рассержусь? Что я — за человек?

Я не сделала ничего. Просто смотрела в ответ.

Секунда. Две. Три. Его пальцы на моём виске — неподвижные, уверенные. Моё дыхание — ровное, хотя внутри штормило. Его глаза — тёмные, непроницаемые, как вода в ноябрьском пруду.

Он убрал руку.

— Смелый ход, — сказал он.

И вышел.

Дверь медпункта закрылась. Я осталась сидеть на кушетке. Тётя Зина скрипела ручкой за ширмой. За окном ворковали голуби. Мой висок горел — не от раны, а от места, где только что были его пальцы. Будто он оставил на коже отпечаток — невидимый, но жгучий.

«Смелый ход».

Не «ты в порядке?». Не «как это случилось?». Не «тебе нужна помощь?». «Смелый ход». Как будто он смотрел шахматную партию и оценил дебют. Не игрока — ход. Не меня — жест.

Я подумала: он опасен.

И тут же подумала: все опасные люди — интересны.

И испугалась этой мысли больше, чем крови на пальцах.

Мама пришла в школу к полудню.

Я позвонила ей из медпункта — не потому что хотела, а потому что тётя Зина сказала: «Положено». Мама бросила вторую работу — просто ушла посреди смены, что означало потерю дневного заработка, что означало суп без мяса на этой неделе, что означало виноватый взгляд, который я буду ловить вечером.

Она влетела в школу, как ураган в домашних тапочках, — маленькая, растрёпанная, с красными руками и перекошенным от страха лицом. Увидела пластырь на моей брови. Схватила за плечи:

— Кто? Кто это сделал? Покажи мне, я...

— Мам. Я упала. Сама.

— Лиза, не ври мне. Тебя толкнули? Тебя ударили? Как в Серпухове? Как в Туле?

— Мам. Я. Упала. Сама.

Она не поверила. Пошла к директору.

Виктор Андреевич Сомов принял её в кабинете, обшитом казёнными грамотами. Я сидела рядом и наблюдала, как разыгрывается сцена, которую я видела четыре раза в четырёх городах.

Мама — маленькая, в дешёвой куртке, с руками, пахнущими хлоркой, — говорила быстро, сбивчиво. Сомов —

крупный, с залысиной и манерами человека, привыкшего к жалобам, — кивал. Мягко. Сочувственно. С выражением, которое я бы назвала «профессиональная эмпатия»: глаза участливые, губы сложены в скорбную дугу, а мозг уже формирует отказ.

— Ольга Викторовна, мы обязательно разберёмся. Но, по предварительной информации, Елизавета поскользнулась сама. Пол был мокрый — уборщица только прошла. Классный руководитель подтверждает.

Я повернула голову. За дверью кабинета, в приёмной, сидела Елена Павловна Кудрявцева — наша классная. Она смотрела в стену. Её руки лежали на коленях, сжатые в кулаки. Она не посмотрела на меня. Не посмотрела на маму. Она смотрела в стену и молчала.

Позже, уже дома, я вспомню её лицо. Не злое. Не равнодушное. Виноватое. Лицо человека, который знает правду, но говорит то, что велели. Я вспомню слова Данила: «Не лезь к ним». И подумаю: Елена Павловна тоже когда-то не полезла.

Мама ушла из школы ни с чем. «Случайное падение. Мокрый пол. Разберёмся.» На крыльце она остановилась, повернулась ко мне. Её глаза были мокрыми.

— Лизонька. Если кто-то тебя обижает...

— Мам. Всё хорошо.

— Обещай мне. Если что-то случится — ты скажешь.

— Обещаю.

Мы обе знали, что я вру. Мы обе знали, что она знает. Но правда стоила слишком дорого — дороже, чем мы могли себе позволить. Правда означала скандал, перевод, ещё один переезд, ещё одну школу. А мама уже устроилась на две работы, и квартира оплачена за три месяца вперёд, и сил на ещё один побег не осталось.

Она поцеловала меня в макушку и пошла к автобусу. Я смотрела, как она уходит — маленькая фигурка в серой куртке, сливающаяся с серой Москвой, — и чувствовала, как внутри меня что-то затвердевает. Не ломается — наоборот. Как цемент, который наконец схватился.

Вечером, в Бутово, я сидела на кухне. Тетрадь была открыта на странице со вчерашним списком. Я добавила:

«Арина Краснова. Главная. Агрессивна при потере контроля. Толкнула при всех — значит, эмоциональна. Эмоциональные люди совершают ошибки.»

«Сергей Астахов. Парень Арины. Унёс меня из класса — демонстративно. Не побоялся реакции Арины. Зачем? Варианты: 1) искреннее сочувствие; 2) провокация Арины; 3) интерес ко мне как к фактору. Скорее всего — 3. Его фраза: «Смелый ход». Он видит ситуацию как игру. Игроки опасны, но предсказуемы — если знать правила.»

«Елена Павловна. Подтвердила ложь директору. Боится. Чего/кого?»

«Данил. Предупреждал. Знал, что будет. Откуда?»

Я закрыла тетрадь. Посмотрела на своё отражение в тём-

ном окне кухни.

Пластырь на брови. Глаза — без очков, серые, усталые, злые. Скулы — ещё с остатками тонального крема, который я не смыла до конца. Губы — сжатые. Не дрожащие. Впервые — не дрожащие.

Я подумала о Паше, который на коленях собирал окурки.

Я подумала о маме, которая поцеловала меня в макушку и ушла на работу.

Я подумала об Арине, которая схватила меня за подбородок, как хватают вещь.

И о Сергее, который сказал «смелый ход» и оставил на моём виске ожог от прикосновения.

Два одинаковых лица. Одно — с кровью, другое — с яростью.

Завтра мне предстояло решить: уйти или остаться. Снова стать невидимой — или остаться видимой и принять всё, что с этим связано.

Я встала. Подошла к зеркалу.

Сняла пластырь. Под ним — тонкая красная полоска, подсыхающая корочка. Шрам. Маленький, но заметный.

Я подумала: я не буду его прятать. Пусть видят.

Пусть Арина видит.

Пусть она знает, что я вернусь. С этим шрамом, с этим лицом — с её лицом — я вернусь и сяду за свою парту, и буду смотреть ей в глаза, и не опущу взгляд.

Не потому что я смелая. Я не смелая. Я — уставшая бо-

яться.

А уставший бояться человек опаснее смелого. Потому что смелому есть что терять. А мне — нечего.

Я легла на диван. Закрыла глаза.

Перед тем как уснуть, я снова почувствовала его пальцы на моём виске. Прохладные. Точные. «Смелый ход».

Я уснула с этим ощущением — и это был первый раз за много лет, когда я засыпала не со страхом, а с чем-то похожим на предвкушение.

Глава 3. Первая кровь

Два дня я не ходила в школу.

Мама думала — из-за раны. Она каждое утро проверяла мою бровь, осторожно отклеивая пластырь, как реставратор отклеивает слой старой краски с картины, и приговаривала: «Заживает, Лизонька, заживает». Потом уходила на работу, а я оставалась лежать на диване и смотреть в потолок, на котором расплзлось жёлтое пятно от протечки, похожее на карту неизвестного континента.

Я не боялась. Не пряталась. Не зализывала раны.

Я готовилась.

Два дня я провела в телефоне. Данил писал мне каждые три часа — навязчиво, заботливо, как будто я была цветком, который завянет без полива. «Как ты?», «Что говорит врач?», «Может, принести конспекты?», «В школе без тебя скучно ##». Я отвечала коротко, ровно, дозируя тепло: достаточно, чтобы он не отстал, недостаточно, чтобы он решил, что мы друзья.

Между его сообщениями я делала другое. Я изучала Ари-ну.

Её Instagram — @arina.krasnova — оказался золотой жилой. Двести тысяч подписчиков. Фотографии — студийные, профессиональные, с выверенным светом. Арина в худи, Арина в платье, Арина с кофе на фоне кирпичной стены. И

на каждом втором снимке — Сергей. Парные кадры: его рука на её талии, её голова на его плече, их профили — зеркальные, идеальные. Под каждым фото — тысячи лайков, сотни комментариев: «Вы идеальная пара!», «Цели отношений ##», «Где купить такие же худи?». И ссылки на бренды. Рекламные интеграции. Деньги.

Я скроллила вниз — дальше, глубже, в прошлое. Два года назад фотографии были другими: зернистые, снятые на старый айфон, без фильтров. Арина — моложе, худее, с другой стрижкой, но с той же улыбкой. Широкой, сияющей, обезоруживающей. Улыбкой, от которой хотелось улыбнуться в ответ. Рядом — Сергей, тоже моложе, с более мягким лицом, ещё не отвердевшим в мраморную маску.

Совместный блог. Совместный бренд. Совместная жизнь. Данил обмолвился вчера: «Они вместе живут. Серый снимает квартиру в Хамовниках, Арина у него. Там и тусуемся иногда. Ну, не мы — они. Свита. Я так, рядом стою». Он написал это с грустной рожицей, и я почти почувствовала к нему жалость. Почти.

Я нашла адрес квартиры. Нашла фотостудию, где они снимали рекламу — «Lens», Красный Октябрь. Нашла кафе — «Мята», Арбат. Я составляла карту их мира, как картограф составляет карту вражеской территории: методично, бесстрастно, с пометками.

А ещё я смотрела на свои руки — и вспоминала его прикосновение. Прохладные пальцы на виске. «Смелый ход».

И давила это воспоминание, как давят окурок каблуком. Не время. Не сейчас.

На третий день я встала в пять утра.

Зеркало в прихожей ждало меня, как ждёт сцена актёра.

Сегодня я работала не торопясь. В первый раз — во вторник — я красилась второпях, на инстинкте, собирая лицо из кусочков чужих образов. Результат был случайностью. Сегодня случайности не будет.

Я начала с кожи. Увлажняющий крем — дешёвый, но работающий. Праймер — из пробника, украденного в «Подружке» (я не горжусь этим, но и не стыжусь: стыд — роскошь для тех, кто может позволить себе покупать). Тональный крем — тонким слоем, спонжем, вбивая в кожу, пока граница между лицом и средством не исчезла. Консилер — под глаза, на покраснения у носа, на крошечный прыщик у подбородка. Пудра — лёгкая, матирующая, только Т-зона.

Потом — архитектура. Контуринг: тени под скулами, на висках, вдоль носа. Не грубо, не как маска — как свет и тень на фотографии, где фотограф знает, что делает. Хайлайтер — на скулы, на спинку носа, на галочку над верхней губой.

Брови. Карандашом — штрихами, имитируя волоски. Выше, чем мои настоящие. Острее. Бровь — это рама для глаза, и рама определяет, как смотрят на картину.

Глаза. Тени: база — телесный, складка — холодный коричневый, внешний угол — тёмный, растушёванный в дымку. Подводка — только верхнее веко, тонкая линия, чуть вы-

веденная за край. Тушь — два слоя, с прочёсыванием, чтобы ресницы не слиплись.

Губы. Карандаш — чуть за контуром, чтобы добавить объём. Помада — приглушённый розовый, тот же оттенок, что во вторник. Поверх — капля прозрачного блеска, только по центру нижней губы.

Волосы. Утюжок. Пробор — чуть правее. Прядь, падающая на правую сторону лица — та самая, фирменная, которую Арина поправляла на каждом третьем фото в Instagram. Я не копировала её намеренно. Я... Нет. Хватит врать себе. Я копировала. Осознанно, методично, с расчётом. Каждый штрих — цитата. Каждый жест перед зеркалом — плагиат. Я крада её лицо по деталям, как карманник крадёт кошелёк — быстро, точно, без угрызений.

Линзы. Мир стал резким, чётким, безжалостно детальным. Без стеклянной преграды я чувствовала себя голой — и одновременно вооружённой.

Я отступила от зеркала. Посмотрела.

В прихожей стояла не Лиза Воронова. И не Арина Краснова. Стояло нечто третье — гибрид, химера, существо, собранное из двух девочек, но не являющееся ни одной из них. Те же черты, что у Арины, — но без её самоуверенного прищура. Мой взгляд — серый, прямой, без блеска — делал это лицо другим. Более тихим. Более опасным.

Я надела чёрные джинсы, белую водолазку, кроссовки. Сверху — тёмно-синее пальто, купленное мамой в се-

конд-хенде за четырёхста рублей. Оно было чуть великовато в плечах, но если не застёгивать — выглядело как oversize, как осознанный выбор, а не нужда.

Пластырь на брови. Я достала его из аптечки. Повертела в руках.

Пусть видят.

Приклеила. Маленькая белая полоска на правой брови — как знак. Как метка. Я здесь. Я вернулась. И я помню, кто это сделал.

Дорога до школы. Автобус. Те же лица, тот же маршрут, но я — другая. Я ловила отражение в стекле и каждый раз вздрагивала: это не я. Это кто-то, кем я притворяюсь. Но с каждой минутой граница между «я» и «притворяюсь» размывалась, как акварель под дождём.

Школьное крыльцо. Колонны, стеклянные двери. Старшеклассники у входа. Тот же парень в чёрной куртке, что в первый день, — но теперь он не скользнул по мне равнодушным взглядом. Он посмотрел. Задержался. Открыл рот. Закрыл. Я прошла мимо.

Первый этаж. Лестница. Второй этаж.

Коридор.

Я шла, и мне казалось, что воздух впереди густеет — как перед грозой, когда давление падает и уши закладывает. Каждый шаг отдавался в рёбрах. Сердце стучало — часто, гулко, как кулак в дверь. Трусиха, сказала я себе. Ты всё ещё трусиха. Просто трусиха в хорошем макияже.

Первые взгляды. Пятиклассница у стенда с расписанием уронила пенал. Семиклассник присвистнул, и его друг ткнул его локтем. Учительница математики — немолодая, в очках, с указкой — остановилась посреди шага и проводила меня глазами.

Я дошла до кабинета 10 «Б». Дверь была открыта. Внутри — гул голосов, обычный предупредительный хаос. Я сделала вдох. Выдох. Вошла.

Хаос умер.

Не сразу — волной. Сначала замолчали ближние парты, потом — средние, потом — дальние. Как рябь по воде, только наоборот: не звук расходился, а тишина. Тридцать лиц повернулись ко мне, и на каждом я прочла одно и то же: она вернулась.

Настя Круглова — на своём посту, с телефоном наготове — подняла камеру. Я услышала тихий щелчок. Или мне показалось.

Вика Ларина прошептала — громко, как она всё делала, — одно слово:

— Вау.

Кирилл Носов, тихий отличник с задней парты, поднял глаза от планшета. Посмотрел на меня. Потом — что-то быстро набрал в телефоне. Я заметила это и запомнила.

Данил встал из-за парты. Сделал шаг ко мне. Остановился. Его лицо — то самое, рекламно-симпатичное — было одновременно восхищённым и растерянным, как у ребёнка,

которому подарили слишком сложную игрушку.

— Лиза, — сказал он тихо. — Ты...

— Доброе утро, — сказала я и прошла на своё место. Камчатка. Последний ряд. У двери.

Я села. Положила рюкзак. Открыла тетрадь. Руки не дрожали — я проверила. Нет, дрожали. Едва заметно. Под партой, где никто не видел, я сжала кулаки и разжала. Сжала и разжала. Старый приём — из Тулы, из кабинета школьного психолога, который видел меня три раза и забыл моё имя.

Арина была на месте. У окна, второй ряд, третья парта. Её спина — прямая, неподвижная. Она не обернулась, когда я вошла. Не обернулась, когда класс замолчал. Она смотрела в окно — на голые деревья, на серое небо, на ничего — и я видела, как напряглись мышцы её шеи. Как побелели пальцы, сжимавшие ручку. Как кончик этой ручки вдавился в тетрадь так глубоко, что, наверное, прорвал бумагу.

Она знала. Она чувствовала. Она не оборачивалась, потому что обернуться — значит признать, что я заслуживаю взгляда.

Маришка, сидевшая рядом с ней, наклонилась и прошептала что-то. Арина не отреагировала. Маришка повторила — громче. Арина медленно повернула голову. Не ко мне — к Маришке. Что-то сказала — одними губами, беззвучно. Маришка отпрянула, как от пощёчины.

Я не слышала слов. Но видела лицо Арины в профиль: неподвижное, как маска, с единственной живой деталью —

желваком, перекатывающимся под кожей.

Звонок.

Урок — литература. Вошла Ирина Сергеевна Мальцева, молодая учительница с живыми глазами и наивной верой в то, что подростков можно спасти классической прозой. Она начала говорить о Достоевском — о двойниках, о расщеплении личности, о том, как один человек может быть зеркалом другого. Я почти рассмеялась. Почти.

Урок тянулся сорок пять минут. Сорок пять минут я чувствовала на себе взгляды — десятки маленьких уколов, как невидимые иголки. Настя строчила в телефоне под партой. Кирилл что-то записывал в блокнот. Данил оборачивался каждые три минуты — я считала.

Арина не обернулась ни разу.

Перемена.

Я вышла из класса последней. Специально. Медленно собрала тетрадь, медленно застегнула рюкзак, медленно встала. Когда я вышла в коридор, Арины уже не было. Но свита была на месте: Лёха, Матвей, Димон — у дальнего подоконника. Без Сергея.

Я пошла не к ним — в другую сторону, к лестнице. Мне нужен был воздух. Мне нужно было успокоить руки, которые снова начали мелко дрожать под рукавами водолазки.

На лестничной площадке между вторым и первым этажом стояла Ирина Сергеевна. Она словно ждала кого-то — или просто пряталась от учительской, от коллег, от рутины. Уви-

дев меня, она выпрямилась.

— Лиза?

— Да.

Она посмотрела на мой пластырь. На моё лицо. На меня. Не так, как смотрели остальные — не с любопытством и не с оценкой. С чем-то другим. С тревогой.

— Можно тебя на минутку?

Мы сели на подоконник лестничной площадки. Из окна тянуло холодом. Внизу, за стеклом, Паша — тот самый мальчик в заклеенных очках — пересекал школьный двор, прижимая к груди рюкзак. Один. Маленький. Торопливый.

— Лиза, — сказала Ирина Сергеевна. Её голос был мягким, как свитер, в который хочется завернуться. — Я вижу, что в классе... непросто. Я новенькая здесь, как и ты. Недавно пришла. Но я вижу. — Она помолчала. — Если тебя кто-то обижает, ты можешь мне сказать.

Я посмотрела на неё. Молодая, лет двадцать девять. Открытое лицо, искренние глаза, ни грамма фальши. Из тех людей, которые ещё верят, что справедливость существует. Из тех, кого система перемалывает первыми.

Мне захотелось рассказать. Впервые за три года — по-настоящему захотелось открыть рот и сказать: да, меня толкнули, мне разбили бровь, в этой школе есть девочка, которая собирает дань с двенадцатилетних и шантажирует учителей, и все молчат, и я молчу, и от этого молчания у меня болят зубы, потому что я стискиваю челюсти во сне.

Но я не сказала. Потому что знала: Ирина Сергеевна пойдёт к директору, директор пойдёт к Арине, Арина узнает, что я пожаловалась, и всё, чего я добилась — пластырь как знак, возвращение с прямой спиной, — превратится в пепел. В Серпухове я пожаловалась. В Серпухове стало хуже.

— Всё в порядке, — сказала я. — Правда.

Ирина Сергеевна смотрела на меня долго. Не поверила. Но не настаивала. Просто сказала:

— Я буду рядом. Если что.

Я кивнула и ушла. На лестнице, уже спустившись на три ступеньки, я обернулась. Ирина Сергеевна стояла у окна и смотрела мне вслед. В её глазах было что-то, от чего мне стало стыдно. Не за ложь — за то, что я отвергла единственного человека в этой школе, который, возможно, хотел помочь по-настоящему.

Но помощь — это слабость. А слабость — это окурки на мокром асфальте. Я больше не могла себе этого позволить.

Четвёртый урок — физкультура.

Я ненавидела физкультуру. Не из-за нагрузок — я была выносливой, жилистой, годы экономии на еде сделали моё тело лёгким, как у марафонца. Я ненавидела раздевалку. Место, где снимаешь броню, где становишься уязвимой, где каждый шрам, каждая дырка на носках, каждая деталь дешёвого белья — улика.

Но сегодня раздевалка не была проблемой. Проблемой был баскетбол.

Учитель физкультуры — Геннадий Степанович, краснолицый мужчина с вечным свистком на шее — разделил класс на две команды. Случайность распорядилась так, что я и Арина оказались по разные стороны.

Или не случайность. Я видела, как Маришка шептала что-то Геннадию Степановичу перед началом, и он кивнул — быстро, не глядя. Договорённость.

Игра началась. Мяч — оранжевый, тугой, пахнущий резиной — летал от рук к рукам. Кроссовки скрипели по паркету. Кто-то кричал: «Пас! Пас сюда!» Я бегала, ловила, передавала. Старалась быть полезной, но незаметной. Мой вечный баланс.

Арина играла хорошо. Лучше, чем я ожидала. Быстрая, точная, с движениями, которые выдавали привычку к спорту. Она двигалась по площадке, как хищник — экономно, целенаправленно, не тратя энергии на лишнее.

Я почувствовала это за секунду до того, как это случилось. Тот самый инстинкт — рязанско-тульско-калужско-серпуховской — который научился считывать опасность по микродвижениям: по повороту плеча, по переносу веса, по тому, как сужаются чьи-то зрачки.

Арина бежала мне наперерез. Мяч был у меня. Я видела её краем глаза — справа, чуть позади. Слишком близко. Слишком быстро. И — не за мячом. Её глаза были не на мяче. Они были на моих ногах.

Удар пришёлся в щиколотку — жёсткий, точечный, за-

маскированный под столкновение. Её кроссовка врезалась в мою лодыжку изнутри, подбивая опорную ногу. Я потеряла равновесие. Мяч улетел. Паркет ударил в колено, потом — в ладони, потом — в подбородок. Боль — яркая, электрическая — прошила лодыжку снизу вверх, как молния.

— Ой, — сказала Арина. Громко, чтобы слышал Геннадий Степанович. — Прости, не рассчитала.

Она стояла надо мной. В точности как два дня назад в классе — высокая, стройная, с лицом, на котором сочувствие было нарисовано так аккуратно, так убедительно, что я почти поверила. Почти. Но её глаза — тёмные, блестящие — улыбались. Не губы. Глаза.

Геннадий Степанович подошёл. Посмотрел на мою лодыжку. «Ничего страшного, до свадьбы заживёт. Посиди на скамейке». Не свистнул фол. Не сделал замечание. Даже не посмотрел на Арину.

С трибуны — да, там были трибуны, три ряда выдвижных скамеек, на которых сидели освобождённые, — я услышала голос. Негромкий, но чёткий. Голос, который я узнала бы из тысячи.

— Арина, тебе идёт, когда ты спокойная.

Сергей. Он сидел на верхней скамейке, привалившись к стене, с телефоном в руке, — освобождённый или прогуливающий, я не знала. Он не смотрел на площадку. Смотрел в телефон. Но фразу сказал достаточно громко, чтобы слышали все.

Арина замерла. Посреди площадки, с мячом в руках, окружённая одноклассниками — она замерла. Повернулась к трибунам. Посмотрела на Сергея. Он по-прежнему смотрел в телефон.

— Что? — сказала Арина.

Сергей поднял глаза. Посмотрел на неё — спокойно, без выражения. Потом — мимо неё, на меня, сидящую на скамейке с перебинтованной лодыжкой. Секунда. Его взгляд вернулся к Арине.

— Ничего, — сказал он. И снова опустил глаза к телефону.

Арина стояла ещё три секунды. Я считала. Мяч в её руках сжимался — я видела, как побелели костяшки. Потом она бросила его. Резко, в пол. Мяч отскочил с глухим ударом, который эхом прокатился по залу.

Маришка подбежала к ней, взяла за локоть, что-то зашептала. Арина вырвала руку. Но вернулась в игру. Молча. С лицом, на котором не осталось ничего — ни гнева, ни сочувствия, ни фальшивой улыбки. Маска упала, и под ней было — пусто.

Публичный упрёк. При свите. При всех. Сергей не защитил Арину и не защитил меня. Он просто... пометил территорию. Показал, кто здесь решает, когда и кому быть «спокойной».

Я сидела на скамейке, держась за лодыжку, и понимала: он не на моей стороне. Он не на стороне Арины. Он на своей

стороне. И обе мы для него — фигуры на доске.

После физкультуры я сидела в раздевалке, перебинтовывая лодыжку. Щиколотка распухла, пульсировала тупой болью, но ничего не было сломано — я проверила, пошевелив пальцами. Растяжение. Максимум — сильный ушиб. Терпимо. Я терпела и не такое.

Раздевалка опустела. Все ушли на следующий урок. Я осталась одна — среди чужих сумок, запаха пота и дезодоранта, скамеек, исцарапанных ключами. Тихо. Только гудели лампы под потолком и где-то капала вода.

Дверь открылась. Я подняла голову, ожидая кого-то из одноклассниц — забыла телефон, потеряла резинку для волос.

Ирина Сергеевна.

Она вошла тихо, как входят в больничную палату. Увидела меня — на скамейке, с ногой, замотанной эластичным бинтом из моего рюкзака (я носила его с собой с Калуги). Подошла. Села рядом.

Молчание. Не неловкое — тёплое. Она не торопилась. Не лезла с вопросами. Просто сидела рядом, и её присутствие было как подушка, в которую можно уткнуться лицом.

— Я видела, — сказала она наконец. — Из коридора. Через окно в зал.

Я не ответила.

— Это не было случайностью, Лиза.

— Я знаю.

— Тогда почему ты молчишь?

Я посмотрела на неё. На её лицо — молодое, открытое, без единого следа цинизма, которым была пропитана эта школа. Лицо человека, который ещё верит. Такие лица вызывали у меня одновременно нежность и раздражение. Нежность — потому что они напоминали мне маму. Раздражение — потому что вера без силы бесполезна.

— Ирина Сергеевна, — сказала я. — Вы здесь недавно, да?

— Полгода.

— Вы уже видели, как Елена Павловна реагирует на Ари-ну?

Пауза. Ирина Сергеевна отвела глаза.

— Видела.

— И вы понимаете, что если я пожалуюсь, станет хуже?

Она молчала.

— Мне не нужна защита, — сказала я. И поразилась, как уверенно это прозвучало. Как будто говорил кто-то другой — тот человек из зеркала, с чёткими скулами и прямым взглядом. — Мне нужно время. И информация.

Ирина Сергеевна повернулась ко мне. В её глазах было что-то новое — не сочувствие, не тревога. Что-то похожее на уважение. И на страх.

— Лиза, — сказала она медленно, — будь осторожна. Пожалуйста.

Я кивнула. Она встала. У двери остановилась.

— Ты очень на неё похожа, — сказала она. — Внешне.

— Я знаю.

— Я имею в виду — не только внешне.

Она вышла. Дверь закрылась. Я сидела в пустой раздевалке и думала о её последних словах. Не только внешне. Что она имела в виду? Что я такая же красивая? Или что я такая же опасная?

Или — что разница между жертвой и тираном тоньше, чем слой тонального крема?

Последняя перемена. Я хромала по коридору первого этажа, направляясь к выходу. Лодыжка ныла при каждом шаге, и я прижималась к стене, стараясь не привлекать внимания. Не получилось.

У выхода, за стеклянными дверями, я увидела школьный двор. А за ним — хозблок. А за хозблоком — то самое место: лавочки, кусты, мёртвая зона камер.

Я остановилась.

Через мутное стекло я видела Лёху. Он стоял в своей позе — руки скрещены, ноги на ширине плеч, — и перед ним стояли трое. Младшеклассники. Два мальчика и девочка, лет двенадцати-тринадцати. Один из мальчиков — Паша. Тот самый, в очках с изолентой.

Лёха говорил что-то. Я не слышала через стекло, но видела жесты: он показывал на землю. На мусор под лавкой — бычки, обёртки, смятые стаканы. Потом показывал на младшеклассников. Потом — снова на землю.

Девочка — маленькая, с двумя косичками, в школьной

форме — опустилась на корточки. Начала собирать. Голыми руками. Мокрые окурки, прилипшие к асфальту, — она отдирала их ногтями. Второй мальчик присоединился. Паша стоял, не двигаясь. Его руки висели вдоль тела, как плети.

Лёха наклонился к нему. Сказал что-то. Паша покачал головой. Лёха положил ему руку на плечо — тяжёлую, как бетонная плита, — и надавил. Медленно. Паша согнулся. Опустился на колени. Начал собирать.

За Лёхой, чуть поодаль, стояла Арина. Я не сразу её заметила — она была в тени хозблока, привалившись к стене, с телефоном в руке. Не снимала — просто смотрела. Время от времени она поднимала глаза от экрана и наблюдала за процессом. Спокойно. Рассеянно. Как наблюдают за автоматической стиркой через стеклянную дверцу машины.

Маришка стояла рядом с ней. Я видела её лицо — и вот здесь, впервые, я увидела трещину в системе. Маришка смотрела на девочку с косичками, собиравшую бычки, и на её лице было выражение, которое она прятала, но не успела спрятать: отвращение. Не к девочке. К процессу. К себе — за то, что стоит и смотрит.

Она поймала мой взгляд через стекло. На секунду наши глаза встретились — два окна друг напротив друга. Маришка отвернулась первой.

Я достала телефон. Открыла тетрадь — не бумажную, электронную, заметки. Набрала:

«Система «взносов». Место: за хозблоком, мёртвая зона

камер. Время: после 5-го урока, ежедневно. Исполнитель: Лёха. Наблюдатель: Арина. Наказание за неуплату: физическое унижение (сбор мусора, окурков, остатков еды). Жертвы: ученики 5–7 классов. Свидетели: Маришка (слабое звено?).»

Я убрала телефон. Посмотрела в последний раз. Паша стоял на коленях на мокром асфальте, и его пальцы — маленькие, покрасневшие — собирали чужой мусор, а Арина смотрела на него с тем же выражением, с которым два дня назад смотрела на меня: ты — ничто, и я решаю, когда тебе об этом напомнить.

Я отвернулась от окна и пошла к выходу. Хромая. С пульсирующей лодыжкой и пульсирующей мыслью: я вижу тебя, Арина. Я вижу всё. И я записываю.

Вечером, в Бутово.

Мама работала до десяти. Квартира была пуста — если не считать звуков: телевизор соседей за стеной, капающий кран, чей-то далёкий смех. Я сидела на кухне перед открытой тетрадью — бумажной, той самой, с записями.

Перечитала всё, что накопила за три дня. Факты. Имена. Связи. Слабости.

Арина — эмоциональна, теряет контроль при угрозе статусу.

Сергей — холоден, расчётлив, видит людей как функции. Не привязан к Арине — привязан к бренду.

Данил — преданный, навязчивый, с секретом, о котором

я пока не знаю, но чувствую.

Елена Павловна — подчиняется Арине. Почему?

Маришка — слабое звено в свите. Испытывает отвращение, но молчит.

Лёха — исполнитель. Тупая сила. Без Арины — ноль.

Матвей — технарь. Вероятно, обеспечивает сбор информации.

Система держится на страхе и компромате.

Я закрыла тетрадь. Посмотрела в окно. Моё отражение — с пластырем на брови, с остатками макияжа, с глазами, в которых усталость боролась с чем-то новым, твёрдым, неизвестным.

Лодыжка болела. Бровь чесалась под пластырем. Тело ныло — от падения, от бега, от напряжения, которое не отпускало ни на секунду.

Но внутри — странное, пугающее спокойствие. Как перед экзаменом, к которому ты впервые в жизни готов.

Я думала о Паше на коленях, собирающем окурки.

Я думала об Арине, стоящей в тени хозблока с телефоном.

Я думала о Сергее: «Арина, тебе идёт, когда ты спокойная». Холодная фраза, точная, как скальпель. Он не защищал меня. Он резал Арину. Я была просто поводом для разреза.

И я думала о Маришке. О секунде, когда её лицо — увидев девочку с косичками, собирающую бычки, — исказилось отвращением. Маришка знала, что это неправильно. Маришка

молчала. Маришка — дверь, которую можно открыть.

Позже. Не сейчас.

Сейчас я встала и подошла к зеркалу. Сняла пластырь. Под ним — тонкий розовый рубец, подживающий. Через неделю от него останется только белая полоска. Через месяц — ничего.

Но я буду помнить. Я буду помнить лицо Арины, наклонившееся надо мной, и её пальцы на моём подбородке, и звук удара — моего тела о пол, и тишину класса, и шёпот, и кровь.

Я не буду мстить. Мечь — это эмоция, а эмоции — это ошибки.

Я буду наблюдать. Записывать. Считать. И когда карта будет полной, когда я буду знать каждую трещину в каждой стене её крепости, — тогда я войду. Не с мечом. С отмычкой.

Я поставила будильник на пять утра. Легла. Закрыла глаза.

Перед тем как уснуть, я снова — против воли, против логики, против всего — почувствовала его пальцы на виске. «Смелый ход». Его голос — низкий, ровный, с интонацией человека, который уже знает, чем кончится партия, но ему интересно смотреть.

Ты опасен, подумала я.

Но и я — учусь.

Сон пришёл быстро. Снились мне не кошмары, нет. Снился школьный коридор, пустой, залитый белым светом. Я шла по нему — без очков, без хромоты, с прямой спиной. А впе-

реди, в самом конце, у подоконника, стояли двое: Арина и Сергей. Арина смотрела на меня с ненавистью. Сергей — с интересом. А я шла и шла, и мои шаги стучали по линолеуму, как удары метронома, и с каждым шагом коридор становился короче.

Я проснулась в четыре пятьдесят семь.

За три минуты до будильника.

Готовая.

Глава 4. Изнанка короны

Будильник на телефоне Арины прозвенел в шесть тридцать. Не мелодия — резкий, металлический звук, похожий на сирену. Она выбрала его специально: мягкие звуки не будили, колыбельные оставляли её в вязком полусне, из которого она выбиралась часами. А сирена — сирена поднимала мгновенно, как пощёчина.

Арина открыла глаза.

Потолок. Белый, ровный, с точечными светильниками. Не её потолок — потолок Сергея. Его квартира в Хамовниках: чистые линии, минимализм, каждый предмет на своём месте. Квартиру снимал его отец — Андрей Астахов, бывший рекламщик, нынешний менеджер среднего звена, который верил, что правильная обстановка формирует правильного человека. «Пространство определяет мышление, Серёга. Живи красиво — будешь красивым.» Сергей запомнил. Сергей превратил эту фразу в религию.

Арина повернула голову. Рядом — пусто. Простыня съята, подушка ещё хранит вмятину, но Сергей уже встал. Она услышала звук кофемашины из кухни — мерный гул, шипение пара, стук чашки о мрамор.

Она лежала ещё минуту. Смотрела в потолок и ждала, пока мир вокруг станет реальным. Каждое утро между пробуждением и реальностью была эта минута — тонкая, хрупкая,

как лёд на луже, — когда всё казалось неправильным. Когда стены были чужими, и кровать была чужой, и жизнь была чужой, и она сама была чужой в этой жизни, как гостья, которая задержалась слишком надолго.

Потом минута проходила. Лёд ломался. Реальность возвращалась — жёсткая, конкретная, требующая действий. И Арина вставала.

Она откинула одеяло. Босые ноги на тёплом полу (подогрев — Сергей не сэкономил на комфорте). Три шага до ванной. Свет — яркий, безжалостный, галогеновый. Зеркало.

Зеркало было её главным инструментом и главным врагом.

Утром, без макияжа, Арина Краснова выглядела как другой человек. Не королева — девочка. Усталая, бледная, с тёмными кругами под глазами, которые год назад были едва заметными, а теперь расплзлись, как синяки. Губы — сухие, обветренные. Кожа — тусклая. Волосы — спутанные, с наэлектризованными кончиками, которые торчали, как антенны.

Ей было семнадцать. Выглядела она на двадцать пять. Не в хорошем смысле — не в том, в котором говорят «зрелая красота». В том смысле, в котором говорят «износ».

На полке над раковиной стояли таблетки. Маленькая коробочка — успокоительное, безрецептурное, из аптеки у метро. Арина брала по две таблетки перед сном уже четвёртый месяц. Началось после того, как один из младшеклас-

ников — пятиклассник Дима, мелкий, наглый, — посмотрел ей в глаза и сказал: «А мой папа — адвокат. Попробуй тронь.» Она не тронула. Она улыбнулась. Пришла домой. Легла. Не уснула до четырёх утра. Встала, нашла в интернете название таблеток. Купила. С тех пор — каждый вечер.

Сергей не знал. Или знал и не спрашивал. С Сергеем всегда было сложно понять, где заканчивается незнание и начинается безразличие.

Арина взяла зубную щётку. Почистила зубы. Умылась. Посмотрела на себя мокрым лицом — как лягушка, подумала она, и эта мысль вызвала короткий, злой смешок, который тут же погас.

Потом начался ритуал.

Сорок минут. Ровно сорок минут — ни больше, ни меньше. Она засекала время на телефоне, как спортсмен засекает круг на стадионе. Каждый этап — отработан до автоматизма.

Увлажняющий крем — La Mer, подарок Сергея на годовщину (первую и пока единственную, которую он вообще отметил). Праймер — Smashbox, купленный на деньги, вырученные с рекламной интеграции. Тональный — Dior, идеально подобранный в магазине на Тверской, куда Арина ходила как в храм: с благоговением и трепетом.

Каждый продукт — дорогой. Каждый — заработанный. Не украденный, не выпрошенный — заработанный. Блогом, съёмками, часами перед камерой, тысячами улыбок, от которых болели мышцы лица. Арина не воровала у богатых ро-

дителей, потому что родителей не было. Арина зарабатывала сама — и этим гордилась той яростной, ошестинившейся гордостью, которая бывает у людей, построивших себя с нуля и боящихся, что кто-то узнает, из какого именно нуля они вышли.

Нуль Арины назывался — тётка Валентина. Однокомнатная квартира на улице Маршала Бирюзова. Запах лекарств, кислых щей и старого ковра. Тётка — единственная родственница после смерти матери (Арина не помнила мать — та ушла, когда ей было два) и исчезновения отца (его Арина не знала вовсе). Тётка Валентина была не злой. Не доброй. Она просто — была. Кормила, одевала, водила в школу. Без тепла, без раздражения — с равнодушием смотрительницы зоопарка.

Когда Арине было двенадцать, тётка научила её краситься. Не из любви — из практичности. «Красота — оружие, девочка. Единственное, которое не отнимут.» Тётка Валентина сама была когда-то красивой — Арина видела старые фотографии: молодая женщина с острыми скулами и тёмными глазами, похожая на актрису из советского кино. Жизнь стёрла эту красоту, как ластик стирает карандаш, но знание осталось. И тётка передала его — единственное наследство, которое у неё было.

Когда Арине было четырнадцать, тётка умерла. Тихо, во сне, от сердца, которое устало. Арина пришла из школы, открыла дверь, позвала: «Тётъ Валь?» Тишина. Прошла в ком-

нату. Тётка лежала на диване, как будто спала. Арина потрясла её за плечо. Холодное. Твёрдое. Как камень.

Арина не вызвала скорую. Не сразу. Она села на пол рядом с диваном и просидела два часа. Не плакала — не умела; тётка не учила плакать, тётка учила красить глаза. Просидела два часа в тишине, слушая тиканье настенных часов и думая одну мысль, снова и снова, по кругу, как белка в колесе: я одна. Я одна. Я одна.

Потом встала. Вызвала скорую. Скорая приехала, забрала тело. Пришла женщина из опеки — формальная, в очках, с папкой. Спросила: «Есть родственники?» Арина сказала: «Есть. Подруга тёти. Она будет моим опекуном.» Подруги не существовало. Арина подделала документы — не сама; помог парень из параллельного класса, который умел работать в фотошопе. Ей было четырнадцать, и она уже умела решать проблемы, которые ломали взрослых.

Социальные службы поверили. Или сделали вид, что поверили, — у них было три тысячи дел и полтора сотрудника. Арина осталась одна в тёткиной квартире. С тёткиной пенсией на карте (которую она обналичивала ещё два месяца, пока счёт не заблокировали) и с тёткиным наследством в голове: красота — оружие. Единственное, которое не отнимут.

Первые месяцы были страшными. Она ела макароны из кастрюли — холодные, потому что газ отключили за неуплату. Ходила в школу в одних и тех же джинсах, застирывая их каждый вечер в раковине. Засыпала в куртке, потому что

отопление работало через раз.

А потом — научилась.

Научилась улыбаться так, чтобы ей верили. Научилась просить — не жалобно, а уверенно, как будто оказывает одолжение тому, у кого просит. Научилась замечать слабости — в людях, в системе, в правилах. Первый «взнос» — триста рублей от перепуганного шестиклассника, которого она поймала за списыванием и пообещала «не говорить учителю, если будешь хорошим мальчиком». Триста рублей. Пачка макарон, пакет молока, два яблока.

С этого начинается империя.

Арина закончила макияж за тридцать восемь минут. На две минуты быстрее обычного — хороший знак или плохой, она не решила. Посмотрела на себя в зеркало.

Королева.

Скулы — безупречные (контуринг, два оттенка, растушёвка). Глаза — глубокие, тёмные, обрамлённые дымчатыми тенями. Губы — тот самый оттенок, «мой цвет, только лучше». Волосы — прямые, блестящие (утюжок Dyson — подарок от бренда за рекламу). Пробор — чуть правее центра.

Она надела чёрные брюки, белую блузку, поверх — бежевый кардиган. Всё — из последней коллаборации с брендом. Всё — бесплатно. Всё — заработано.

Вышла из ванной. Кухня. Сергей сидел за мраморной стойкой, пил кофе и листал планшет. Его волосы были мок-

рые после душа, тёмная прядь падала на лоб, и он не убирал её — знал, что так выглядит лучше. Сергей всегда знал, как выглядит лучше. Это было его проклятие и его суперсила.

Он не поднял глаз, когда она вошла.

— Кофе на стойке, — сказал он.

Арина взяла чашку. Чёрный, без сахара. Он знал, как она пьёт. Он много чего знал — и при этом не знал ничего.

Она села напротив. Молчание. Утреннее молчание в этой квартире было привычным — не враждебным, не тёплым. Функциональным. Как молчание двух коллег в офисе, которые работают над одним проектом и экономят слова для совещаний.

— Сегодня созвон с Костей в два, — сказал Сергей, не отрываясь от планшета. — Новый бренд. Спортивная одежда, средний сегмент. Хотят парные кадры. Тебе нужно быть в студии к трём.

— Хорошо.

— И улыбайся. В прошлый раз ты была...

— Какой? — Арина подняла бровь.

Сергей наконец посмотрел на неё. Его глаза — тёмно-карие, непроницаемые — скользнули по её лицу с выражением, которое она знала наизусть: оценка. Не как мужчина смотрит на женщину, а как фотограф смотрит на модель. Свет, ракурс, дефекты.

— Напряжённой, — сказал он.

— Интересно, почему.

Пауза. Сергей поставил чашку.

— Арина. Мы не будем сейчас об этом.

— О чём? О том, что в нашей школе появилась моя копия? О том, что ты унёс её на руках при всём классе? Или о том, что ты сказал мне «тебе идёт, когда ты спокойная», как будто я — собака, которую нужно дрессировать?

Её голос был ровным. Почти ровным. Почти — потому что на слове «копия» в нём дрогнула нота, которую она ненавидела: нота страха. Не злости, не ревности — страха. Арина боялась. Впервые за три года — по-настоящему боялась. И Сергей это слышал.

Он встал. Обошёл стойку. Остановился перед ней. Высокий — выше на голову, — он смотрел сверху вниз, и в его взгляде было что-то, что Арина когда-то принимала за нежность, а теперь понимала как расчёт.

— Арина, — сказал он. Тихо. — Я унёс её, потому что ты ударила человека при тридцати свидетелях. Потому что кто-то снимал на телефон. Потому что видео могло попасть в интернет, и наш бренд — наш, Арина, — получил бы удар, от которого мы не оправились бы.

— Я не ударила, я толкнула...

— Я спасал нас. Не её. Нас.

Он произнёс «нас» с нажимом. Но Арина услышала другое. Она услышала «бренд». Потому что для Сергея «мы» и «бренд» были синонимами. Она поняла это давно — может быть, с самого начала. Она просто не хотела признавать.

Арина смотрела на него снизу вверх. На его лицо — красивое, холодное, как рекламный плакат. На его губы — те самые, которые целовали её по ночам, но никогда — при свете дня, если рядом не было камеры. На его руки — которые обнимали её для Instagram и убирались, как только экран гас.

— Серёж, — сказала она. Голос стал тише. Мягче. Она ненавидела этот голос — голос, которым она просила, когда хотела требовать. Но Сергей реагировал только на мягкость. Жёсткость он отражал, как зеркало отражает свет. — Серёж. Она выглядит как я. Тебе не кажется это... странным?

— Совпадение.

— Совпадения не бывают настолько точными.

— Бывают. — Он вернулся за стойку. Допил кофе. — Лиза Воронова. Переведена из Серпухова. Мать — уборщица. Живут в Бутово. Данил рассказал.

Арина замерла.

— Ты спрашивал Данила? О ней?

— Я собираю информацию. Это называется — управление рисками.

— Это называется — ты интересуешься ей.

Сергей посмотрел на неё. Долго, без выражения. Потом сказал — ровно, без интонации, как читают прогноз погоды:

— Арина. Ты — мой партнёр. Мой бренд. Мой проект. Я вложил в тебя два года. Я научил тебя позировать, говорить на камеру, работать со светом. Я построил из тебя — из девочки, которая жила одна в тёткиной квартире и ела холод-

ные макароны, — лицо, на которое подписаны двести тысяч человек. Ты думаешь, я брошу это из-за совпадения?

Каждое слово было правдой. Каждое слово было ударом.

Я построил из тебя. Не «мы построили вместе». Не «ты выросла». Я построил из тебя. Как строят дом. Как собирают мебель. Как создают продукт.

Арина проглотила это. Как глотала каждый раз — молча, с прямой спиной, с лицом, на котором ни один мускул не дрогнул. Она научилась глотать слова, как тётка Валентина научила глотать слёзы: без звука, без следа.

— Хорошо, — сказала она.

— Студия. Три часа. Не опаздывай.

Он взял рюкзак, планшет, ключи. У двери обернулся.

— И, Арина?

— Что?

— Не трогай Воронову. Физически. Больше — никогда.

Дверь закрылась. Замок щёлкнул. Тишина.

Арина сидела за мраморной стойкой, с остывающим кофе, в идеальном макияже, в идеальной одежде, в чужой идеальной квартире, и чувствовала, как внутри неё — там, где должно было быть что-то тёплое, живое, — ворочается холодное и тяжёлое, как камень на дне пруда.

Она достала телефон. Открыла Instagram. Набрала: «Лиза Воронова».

Аккаунт нашёлся быстро. Новый, почти пустой — три фотографии. Но фотографии были... Арина увеличила первую.

Лиза у окна, в профиль. Свет из окна, тени на скулах. Композиция — не случайная. Поза — не случайная. Ракурс — тот же, что на «её» фото, на том вирусном снимке, который набрал восемьдесят тысяч лайков.

Арина открыла лайки под фото Лизы.

Сорок два лайка. Немного. Но один из них — @sergey.astakhov.

Она смотрела на экран. На маленькое сердечко рядом с его именем. Маленькое, красное, ничтожное сердечко, которое он нажал — когда? вчера? сегодня утром? пока она спала рядом? — и которое значило больше, чем все его слова о «бренде» и «управлении рисками».

Арина медленно положила телефон на стойку. Экраном вниз. Прикрыла ладонью, как накрывают зеркало в доме покойника.

Потом допила кофе. Вымыла чашку. Надела пальто. Вышла.

Школа.

Арина шла по коридору второго этажа — каблук-мысок, каблук-мысок, — и коридор расступался перед ней, как вода перед кораблём. Привычно. Автоматически. Младшеклассники прижимались к стенам. Десятиклассники кивали. Учителя не замечали — или делали вид.

Она дошла до дальнего подоконника. Свита была на месте: Лёха привалился к стене, листая телефон. Матвей стучал по клавиатуре ноутбука, пристроенного на коленях. Ди-

мон рассказывал Маришке что-то, размахивая руками. Маришка слушала вполуха.

— Собрание, — сказала Арина.

Одно слово. Голоса стихли. Пальцы замерли. Даже Лёха, никогда не отличавшийся скоростью реакции, убрал телефон.

Они перешли в пустой кабинет — биологию, второй этаж, дальний конец коридора. Учительница биологии была на больничном, кабинет стоял закрытым, но у Арины был ключ. У Арины были ключи от многих дверей.

Пять человек. Один стол. Арина стояла, остальные сидели. Так было всегда — она стояла, они сидели. Геометрия власти.

— Задачи на неделю, — сказала Арина. — Лёха. Взносы. Кто задолжал?

Лёха полистал заметки в телефоне. Его толстые пальцы двигались по экрану неуклюже, как сардельки по клавишам пианино.

— Паша Горин, пятый «А». Вторую неделю не платит. Говорит, мать не даёт.

— Решай. Но аккуратно. Без синяков.

— Понял.

— Ещё двое из шестого «Б» — новенькие, не в курсе системы. Маришка, поговори с ними. Мягко. Объясни, как работает «школьный фонд помощи». — Арина улыбнулась. «Школьный фонд помощи» — так она называла свою систе-

му сбора. Красиво, официально, почти благотворительно. — Если не поймут — Лёха подключится.

Маришка кивнула. Молча.

— Матвей. Канал.

Матвей поправил очки.

— Telegram-канал «Школа 17: изнанка». Двести подписчиков. Растёт. Автор анонимный, VPN, виртуальный номер. Пока не вычислил.

— Вычисли, — сказала Арина. — Мне плевать, как. Взломай, отследи, поставь ловушку. Этот канал — проблема. Вчера был пост про Тину и Сергея. Откуда у автора эта информация?

— Не знаю. Но пост был опубликован через два часа после того, как... ну, после того, как в классе всё произошло. Значит, автор — из нашего класса. Или имеет источник в нашем классе.

Арина кивнула.

— Димон.

— Ась? — Димон улыбнулся. Его улыбка была широкой, обезоруживающей, совершенно пустой. Димон улыбался всегда. Когда было смешно, когда было страшно, когда было никак. Улыбка была его защитой — как панцирь у черепахи.

— Будь рядом. Смейся. Делай то, что делаешь.

— Это я могу, — сказал Димон. И засмеялся.

Арина посмотрела на Маришку. Та сидела, скрестив руки

на груди, и смотрела в окно.

— Маришка.

— Да?

— Ты в порядке?

Маришка повернулась. На секунду — на одну короткую секунду — Арина увидела в её глазах что-то, что заставило её внутренне напрячься. Не враждебность, не страх — усталость. Тот сорт усталости, который бывает у людей, стоящих на краю. На краю чего — вопрос.

— Конечно, — сказала Маришка. И улыбнулась. Улыбка была правильной — тёплой, дружеской, «лучшая подруга». Но Арина знала, как выглядят правильные улыбки. Она сама их конструировала каждое утро перед зеркалом.

— Хорошо, — сказала Арина. И не стала копать глубже. Не сейчас. Позже. Маришка знала слишком много, чтобы рисковать.

Полдень. Столовая.

Арина сидела за «своим» столом — у окна, с видом на двор. Сергей рядом, с телефоном в руке (всегда с телефоном). Маришка напротив. Лёха, Димон, Матвей — вокруг. Обычный обед, обычная расстановка, обычный спектакль.

Но обычного не было ничего.

Потому что через три стола — на дальнем конце столовой, за столом, который обычно пустовал, — сидела Лиза. Одна. С подносом, на котором лежала тарелка с макаронами и стакан компота. Она ела молча, глядя в тарелку.

Арина видела её. Видела, как другие ученики — проходя мимо, занимая места, шурша подносами — бросали на Лизу взгляды. Быстрые, воровские, как бросают взгляды на аварию на дороге: жутко, но невозможно не смотреть.

Лиза сидела с прямой спиной, с лицом — с лицом Арины — и ела макароны. Как будто это был обычный день. Как будто она не сидела в столовой школы, где каждый метр пространства был размечен, как территория хищников.

— Не смотри на неё, — сказал Сергей, не поднимая глаз от телефона.

Арина вздрогнула.

— Я не...

— Смотришь. Уже третью минуту. Все заметили.

Арина перевела взгляд на свой поднос. Суп, салат, хлеб. Она не притронулась ни к чему. Аппетит, и без того слабый, исчез три дня назад — в тот момент, когда она увидела в классе лицо, идентичное своему.

— Мне нужно идти, — сказала она. Встала. Взяла сумку.

— Студия. Три часа, — напомнил Сергей.

— Я помню.

Она вышла из столовой. В коридоре — пусто, все на обеде. Арина прижалась спиной к стене. Закрыла глаза. Дышала.

Она никто. Никто. Дочь уборщицы. Живёт в Бутово. Носит одежду из секонд-хенда. Она — никто.

Но «никто» сидела в столовой с лицом Арины и ела мака-

роны с королевским спокойствием. И Сергей поставил лайк под её фото. И весь класс шептался. И Telegram-канал набирал подписчиков. И мир, который Арина строила три года — кирпич за кирпичом, улыбка за улыбкой, шантаж за шантажом, — этот мир дрожал.

Арина открыла глаза. Пустой коридор. Люминесцентный свет. Плакат «Знание — сила» на стене напротив.

Ты справишься, сказала она себе. Ты всегда справлялась. Ты пережила тётку. Пережила голод. Пережила одиночество. Ты переживёшь девчонку с косметикой из «Фикс Прайса».

Она выпрямилась. Поправила волосы. Улыбнулась — стене, плакату, пустоте. Проверила улыбку: зубы, глаза, ямочки. Идеально.

Пошла к выходу. Студия. Три часа. Работа.

Фотостудия «Lens». Красный Октябрь. Лофт: кирпичные стены, огромные окна, белый фон, стойки со светом. Запах кофе, лака для волос и нового пластика.

Арина опоздала на сорок минут.

Она не хотела опаздывать. Она вышла из школы вовремя, села в такси (Яндекс, комфорт, потому что в экономе её однажды укачало, и Сергей сказал: «Бренд не блюёт в такси»). Но в машине — что-то случилось. Что-то, чему она не могла дать имя.

Она достала телефон. Открыла Instagram. Открыла аккаунт Лизы. Три фотографии. Сорок два лайка. Лайк Сергея. Арина смотрела на эти фотографии, и её пальцы — те самые,

которые утром наносили тональный крем La Mer с точностью хирурга, — начали дрожать. Мелко, быстро, неуправляемо. Она сжала телефон обеими руками, чтобы остановить дрожь. Не помогло. Дрожь перешла в руки, в предплечья, в плечи, и вдруг — всё тело дрожало, мелкой, собачьей дрожью, как будто ей было холодно, хотя в такси было двадцать два градуса и работал обогрев.

Водитель посмотрел в зеркало: «Девушка, вам плохо?» Арина не ответила. Она закрыла глаза и дышала — вдох на четыре счёта, выдох на шесть, как в видео по борьбе с паническими атаками, которое она посмотрела ночью и удалила из истории просмотров.

Дрожь утихла. Но время ушло.

Она вошла в студию в три сорок. Костя — менеджер бренда, молодой, нервный, с бородкой и в очках без диоптрий (мода) — стоял у фона, скрестив руки. Фотограф — бородастый мужчина по имени Вадим, которого все звали Вадик — сидел на стуле, листая телефон. Ассистент убирал софиты.

Сергей стоял у окна. Уже переодетый: белая футболка с логотипом бренда, тёмные спортивные штаны. Выглядел безупречно — как манекен в витрине, если бы манекены умели излучать холод.

— Ты опоздала, — сказал он.

Не «привет». Не «ты в порядке». Ты опоздала.

— Пробки, — сказала Арина.

— Костя ждал сорок минут.

Костя поправил очки:

— Послушайте, ребят, у нас бюджет на три часа студии. Сорок минут — это...

— Мы компенсируем, — сказал Сергей. — Начинаем.

Арина переоделась за ширмой. Те же вещи: белая футболка, тёмные штаны. Парный look. Вышла к фону.

— Окей, — сказал Вадик-фотограф. — Встаньте рядом. Серёж, руку на талию. Арин, голову ему на плечо. Классика, да? Поехали.

Щелчок затвора.

— Арина, расслабь лицо. Ты напряжена.

Щелчок.

— Арина, улыбка. Давай — как обычно. Та самая.

Щелчок.

— Арин... Подожди. Серёж, дай ей минуту.

Сергей отступил. Посмотрел на Арину. Она стояла перед фоном, в свете софитов, которые должны были делать её красивой, — и не могла расслабить лицо. Мышцы не слушались. Скулы были каменными, губы — сжатыми, глаза — стеклянными. Она знала, как выглядит идеальная улыбка. Она конструировала идеальные улыбки три года. Но сегодня механизм заклинило, как заклинивает замок, когда ключ сломался внутри.

— Минутку, — сказала она. Вышла за ширму. Прижала ладони к лицу. Вдох. Выдох. Ты — продукт. Продукт не ломается.

Она вернулась. Улыбнулась. Вадик щёлкнул.

— Лучше. Ещё.

Щелчок. Щелчок. Щелчок.

— Хорошо. Теперь — Серёж, обними её сзади. Арин, откинись на него. Доверие, близость, тепло. Давайте.

Сергей встал за ней. Обнял — руки на талии, подбородок у виска. Привычный жест, отработанный сотнями снимков. Арина откинулась на его грудь. Почувствовала тепло. Запах его одеколона — хвоя, кожа, горечь. Тот запах, который когда-то был её запахом — запахом их первого поцелуя, первой ночи, первого утра в этой квартире.

А теперь — просто запах партнёра по проекту.

— Идеально, — сказал Вадик. — Костя, смотри.

Костя подошёл к монитору. Посмотрел на снимки. Кивнул. Потом — нахмурился.

— Хорошо, но... Ребят, не в обиду. Последние кадры — класс. Но первые десять — Арина выглядит... натянута. Бренд хочет лёгкость. Спортивную небрежность. А здесь — как будто съёмка для военного билета.

Тишина.

— Переснимем, — сказал Сергей ровно.

— Бюджет...

— Переснимем. Бесплатно. Завтра или послезавтра.

Костя пожал плечами: «Ок». Собрал планшет. Ушёл.

Вадик начал складывать оборудование. Ассистент гасил софиты. Студия медленно теряла свет, превращаясь из сце-

ны в обычную комнату с кирпичными стенами.

Арина стояла перед фоном. Сергей — в трёх шагах от неё. Между ними — рулон белой бумаги и молчание, которое было тяжелее свинца.

— Серёж...

— Не сейчас.

— Серёж, я просто...

— Не. Сейчас.

Он говорил тихо. Без повышения голоса. Без злости. Это было хуже крика — его тишина была как скальпель: тонкая, точная, стерильная. Он не ранил — он вскрывал.

— Ты стоила нам сегодня пересъёмку. Это время. Это деньги. Это репутация. — Он повернулся к ней. — Арина, ты ломаешься. Я вижу это. Ты не спишь, не ешь, ты пьёшь эти таблетки — да, я знаю, — и ты не можешь расслабить лицо перед камерой. Из-за чего?

— Ты знаешь, из-за чего.

— Из-за девчонки, которая накрутилась похоже? Серьёзно?

— Она не просто «накрутилась похоже», Серёжа. Она — я. Она ходит как я, одевается как я, и завтра она будет жить как я, если мы...

— Она — не ты. — Сергей подошёл к ней. Близко. Его руки легли ей на плечи — не нежно, а крепко, фиксирующе, как руки тренера, который удерживает боксёра от ненужного удара. — Ты — бренд. Она — шум. Бренд не реагирует на

шум. Бренд работает.

Арина смотрела на него снизу вверх. На его лицо — ровное, спокойное, безупречное. На его глаза — тёмные, непроницаемые. Тонированное стекло. В этих глазах не было ничего — ни любви, ни ненависти, ни страха. Только — функция. Он смотрел на неё как на прибор, который барахлит, и прикидывал: чинить или менять?

Она подняла руки. Положила ему на грудь. Почувствовала его сердцебиение — ровное, медленное, как метроном. Не ускорившееся. Не дрогнувшее.

— Серёжа, — сказала она тихо, другим голосом — не деловым, не «партнёрским». Голосом, который она доставала из глубины, как достают дорогое вино из погреба: только для особых случаев. — Мы же вместе. Не ради бренда. Ради нас. Правда?

Она шагнула ближе. Подняла лицо. Её губы были в сантиметре от его подбородка. Она знала, что это работает. Всегда работало. Её близость, её запах, её тепло — единственное оружие, которое пробивало его броню.

Сергей чуть опустил голову. Посмотрел на неё. На секунду — на одну крошечную секунду — что-то промелькнуло в его глазах. Тень. Отголосок. Может быть, воспоминание — о первом поцелуе, о первой ночи, о первом утре, когда он проснулся рядом с ней и подумал: с этой девочкой я стану кем-то.

Он наклонился. Коснулся губами её лба. Легко. Почти

небрежно.

— Ради нас, — сказал он.

Но его глаза — которые Арина не видела, потому что он целовал её лоб, — оставались холодными. Тёмными. Расчётливыми.

Поздний вечер. Квартира в Хамовниках. Арина спала — сон пришёл быстро, после двух таблеток и стакана воды. Она лежала на своей стороне кровати, свернувшись калачиком, с руками, прижатыми к груди, как ребёнок, которому снится что-то страшное.

Сергей не спал.

Он сидел на кухне, за мраморной стойкой, в свете экрана планшета. Белый свет падал на его лицо снизу вверх, подчёркивая скулы, превращая глаза в тёмные провалы. Он был похож на скульптуру — или на маску.

На экране — Instagram. Аккаунт Лизы Вороновой. Три фотографии. Сорок два лайка (один — его). Он листал фотографии медленно. Увеличивал. Изучал. Не как мужчина изучает фото красивой девушки — без похоти, без тепла. Как инженер изучает чертёж конкурента: с профессиональным интересом и подсчётом.

Лиза у окна. Свет на скулах. Поза — естественная, не натянутая. Глаза — серые, прямые, без тени фальши. Она не позировала для камеры. Она была камерой — объективом, направленным на мир, а не зеркалом, отражающим свет.

Сергей свернул Instagram. Открыл таблицу — доходы

за квартал. Цифры были хорошими, но кривая — тревожной. Рост замедлился. Костя — третий менеджер за полгода, который жаловался на «натяннутость» Арины. Алгоритмы выдачи менялись, конкуренты наступали, аудитория хотела свежести, а они с Ариной выдавали одно и то же: парные фото, реклама худи, «цели отношений». Формула работала два года. Формулы не работают вечно.

Он закрыл таблицу. Открыл Instagram Лизы ещё раз.

Посмотрел на фото. Потом — на дверь спальни, за которой спала Арина.

Потом — снова на фото.

И в тишине пустой кухни, в белом свете экрана, Сергей Астахов — семнадцать лет, сын разведённых родителей, автор Instagram-империи, — впервые задал себе вопрос, который изменит всё:

А что, если формулу можно обновить?

Он закрыл планшет. Экран погас. Кухня погрузилась в темноту. За окном Москва мерцала огнями — равнодушная, бессонная, бесконечная.

Сергей сидел в темноте и думал.

За стеной, во сне, Арина вздрогнула и прижала руки к груди крепче.

Глава 5. Коллекционер

Данил Оболенский писал мне каждый день.

Не раз в день — много раз. Утром — «Доброе утро, Лиз! *#». Между уроками — «Как ты? Лодыжка?». После школы — «Хочешь, занесу конспект по химии? Мне не сложно». Вечером — «Что делаешь? ##». И ещё один, ближе к полуночи, — «Спокойной ночи. Отдыхай».

Пять сообщений в день. Каждый день. Без выходных. Без пропусков. Как расписание автобуса — точно по часам.

Я отвечала. Не сразу — через двадцать-тридцать минут, иногда через час. Достаточно быстро, чтобы он не нервничал. Достаточно медленно, чтобы он чувствовал зазор — ту тонкую пустоту между вопросом и ответом, в которой рождается нетерпение, а из нетерпения — привязанность.

Этому я тоже научилась в предыдущих школах. Не от подруг — у меня не было подруг. От наблюдений. Я наблюдала за популярными девочками, как энтомолог наблюдает за насекомыми: без симпатии, без отвращения, с профессиональным интересом. Как они отвечают на сообщения — не сразу, но и не слишком поздно. Как дозируют внимание — чуть больше, чем ничего, чуть меньше, чем достаточно. Как держат дистанцию — не стеной, а туманом: ты вроде бы видишь человека, но не можешь до него дотянуться.

Я не была жестокой. Я была практичной. Данил был един-

ственным человеком в этой школе, который разговаривал со мной добровольно, без шёпота и оглядок. Единственный, кто не боялся сидеть рядом. Единственный источник информации.

Он мне нужен. Значит — я отвечаю. Дозированно. Тепло. Но не настолько тепло, чтобы он решил, что мы — друзья.

Друзья — это те, кому ты доверяешь. А я не доверяла никому.

Прошла неделя после моего возвращения в школу. Лодыжка зажила — осталась лёгкая боль при резких движениях, но я научилась не хромать. Рубец на брови побледнел, пластырь я сняла. Каждое утро — ритуал перед зеркалом: макияж, линзы, укладка. Каждое утро — превращение из Лизы Вороновой, дочери уборщицы из Бутово, в кого-то другого. Кого-то, перед кем расступаются коридоры.

Школа привыкла. Не ко мне — к двойственности. К тому, что в 10 «Б» сидят две одинаковые девочки, одна у окна, другая у двери, и между ними — минное поле, по которому ходят все остальные. Настя Круглова (я уже выучила все имена) однажды сказала мне у кулера: «Ты реально похожа. Это жутко. Вы не родственницы?» Я ответила: «Нет». И больше ничего. Настя ждала продолжения, деталей, сплетни — не дождалась. Это тоже было стратегией: молчание провоцирует домысливание, а домыслы всегда интереснее правды.

Арина меня игнорировала. После физкультуры — ни слова, ни взгляда. Она проходила мимо моей парты, как ми-

мо пустого стула. Не замечала, не здоровалась, не нападала. Идеальное безразличие. Слишком идеальное, чтобы быть настоящим. Я видела, как дёргался мускул у её левого глаза, когда я входила в класс. Видела, как она сжимала телефон чуть крепче обычного. Видела, как Маришка каждое утро клала руку ей на плечо — короткое касание, «я здесь, всё хорошо», — и Арина на секунду прикрывала глаза, как человек, которому больно, но который не хочет, чтобы это заметили.

Она держалась. Как держится плотина — неподвижно, каменно, пока вода не найдёт трещину.

Я не торопилась искать трещину. Я наблюдала. Записывала. Ждала.

И Данил писал мне каждый день.

В четверг, на перемене между третьим и четвёртым уроком, он подошёл к моей парте. В руках — пластиковый стаканчик из школьного автомата.

— Кофе? — он улыбнулся. Та самая улыбка — тёплая, правильная, рекламная.

— Спасибо, — я взяла стаканчик. Кофе из автомата — водянистый, горький, едва тёплый. Но жест был важнее вкуса. Жест говорил: я думаю о тебе. Я забочусь.

— Лиз, — он присел на край соседней парты. Близко. Ближе, чем обычно. — У меня идея. Ты же говорила, что тебе нужны учебники по истории. Второй семестр, все эти параграфы...

Я не говорила. Я не жаловалась на учебники. Но Данил часто «вспоминал» то, чего не было, — додумывал за меня, конструировал поводы для встреч. Я не поправляла. Коррекция чужих иллюзий — пустая трата энергии.

— У меня дома все учебники. И конспекты с прошлого года — я отличник, — он сказал это без хвастовства, как констатацию факта. — Можем позаниматься. У меня. Если хочешь.

У меня. Два слова, произнесённые чуть тише, чем остальные, — как пароль, как приглашение в закрытый клуб. Я посмотрела на него. Голубые глаза, светлые волосы, симпатичное лицо. Парень, от которого любая нормальная шестнадцатилетняя девочка пришла бы в восторг. Из богатой семьи. С манерами. С учебниками.

Но я не была нормальной. И восторг — это роскошь, которую я не могла себе позволить.

Зато информацию — могла.

— Хорошо, — сказала я. — Когда?

Его глаза вспыхнули. Не метафора — буквально: зрачки расширились, уголки губ дрогнули, кадык дёрнулся — он сглотнул. Всё это заняло полсекунды, и обычный человек не заметил бы. Но я — не обычная. Четыре школы, четыре года наблюдений. Я читала микромимику, как другие читают учебники: медленно, по слогам, но точно.

— Завтра? После школы?

— Завтра.

Он ушёл — лёгкий, почти пружинящий. У двери обернулся, улыбнулся, помахал. Я помахала в ответ. Маленький жест. Крошечная инвестиция.

Из-за парты справа на меня смотрел Кирилл Носов — тихий отличник с вечным планшетом. Его глаза за очками были внимательными, быстрыми, — и я подумала, что он заметил слишком много. Но он ничего не сказал. Отвернулся. Что-то набрал в телефоне.

Я допила водянистый кофе и подумала: что ты прячешь, Данил Оболенский? Почему ты так стараешься? И почему каждый раз, когда ты говоришь мне «Лиз» — я слышу другое имя?

ЖК «Алые Паруса». Набережная Москвы-реки.

Я никогда не была в таких домах. Я видела их из окна автобуса — стеклянные башни, вырастающие из воды, как зубы гигантского зверя. Видела в Instagram — фоном на фотографиях блогеров, которые жили жизнью, не имевшей ничего общего с моей. Видела в рекламе — «апартаменты бизнес-класса, от 45 млн рублей», — и число было настолько большим, настолько неприменимым к моей реальности, что казалось не числом, а шуткой.

А теперь я стояла в холле. Мрамор под ногами. Зеркала на стенах. Консьерж за стойкой — мужчина в костюме, с выбритым лицом и улыбкой, включавшейся при виде жильцов, как фонарь включается при движении.

— К Оболенским? — спросил он, глядя на меня. — Данил

предупредил. Семнадцатый этаж.

Лифт — бесшумный, быстрый, с зеркальными стенами. Я видела себя со всех сторон: белая водолазка, чёрные джинсы, рюкзак. Макияж — на месте. Волосы — на месте. Лицо — спокойное. Внутри — ничего спокойного. Внутри — та самая дрожь, которую я научилась прятать: дрожь не от страха, а от несоответствия. От того, что я — из Бутово, из однокомнатной квартиры с жёлтым пятном на потолке, из мира, где «кофе» — это растворимый порошок за тридцать рублей, — стою в лифте с мраморным полом и еду на семнадцатый этаж к мальчику, чей отец владеет сетью автосалонов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.